Санд Ж.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:

МАРКИЗ ДЕ ВИЛЬМЕР

МЕЛЬХИОР

КОРА

Собрание сочинений

Жорж Санд

Маркиз де Вильмер. Мельхиор. Кора (сборник)

«Алгоритм»
1861, 1832, 1833

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Маркиз де Вильмер. Мельхиор. Кора (сборник) / Ж. Санд — «Алгоритм», 1861, 1832, 1833 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02834-2

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением.В романе «Маркиз де Вильмер» главный герой, благородный не только по рождению, но и по своим человеческим качествам, сумел возвыситься над предрассудками своей среды, найдя счастье в любви к женщине не светской, но близкой ему по духу.В том также входят два рассказа: «Мельхиор» и «Кора».

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02834-2

© Санд Ж., 1861, 1832, 1833
© Алгоритм, 1861, 1832, 1833

Содержание

Маркиз де Вильмер 5
Конец ознакомительного фрагмента. 47
Комментарии

Жорж Санд
Маркиз де Вильмер. Мельхиор. Кора (сборник)

Маркиз де Вильмер
Перевод Г. Шмакова

[1]

I

Письмо госпоже Камилле Эдбер

(в Д*** через Блуа)

«Милая сестра, тебе нет причин тревожиться: я благополучно добралась до Парижа и даже не устала. Поспала несколько часов, выпила чашечку кофе, привела себя в порядок. Сейчас найму фиакр и отправлюсь к госпоже д'Арглад, а она уже представит меня госпоже де Вильмер. Нынче же вечером опишу тебе, как прошла знаменательная встреча, а пока посылаю эту записочку, чтобы ты не беспокоилась о моем здоровье и исходе поездки.

Не падай духом, дорогая, все еще сложится к лучшему. Господь не оставляет тех, кто уповает на Его милость и кто из последних сил старается исполнить волю Всевышнего. Расстаться с вами было так трудно, меня удерживали дома ваши слезы. Стоит мне о них подумать, я сама чуть не плачу, но пойми, так было нужно! Не могла же я сидеть сложа руки, когда ты бьешься с четырьмя детьми. Я вполне здорова, сильна духом, и, кроме тебя и наших милых ангелочков, у меня нет никого на свете. Так кому же, как не мне, было отправиться на поиски хлеба насущного? Уверяю тебя, я добьюсь успеха! Только умоляю – не жалей меня и не сокрушайся, лучше поддерживай меня. На этом кончаю, дорогая сестра, крепко целую тебя и деток. Не доводи их до слез разговорами обо мне. Только бы они не забыли меня, не то я сильно опечалюсь.

3 января 1845

Каролина де Сен-Жене».

Письмо второе. Ей же

«Поздравь меня с большой победой, сестричка! Я только что вернулась от нашей именитой госпожи. Успех превзошел все ожидания. Сейчас расскажу; сегодня у меня, вероятно, последний свободный вечер, так что на досуге я опишу тебе подробно нашу встречу. Мне так и кажется, что я болтаю с тобой у камина, укачиваю Шарло и забавляю Лили. Милые детки, что они сейчас поделывают? Им и в голову не придет, что сижу я одна-

одинешенька в унылой комнате, потому что, боясь стеснить госпожу д'Арглад, устроилась в небольшой гостинице. Зато у маркизы мне будет очень удобно, а этот вечер я проведу в уединении, соберусь с мыслями и подумаю о вас. Хорошо, что я не рассчитывала на пристанище, которое предложила госпожа д'Арглад; она оказалась в отлучке, и мне пришлось набраться храбрости и самой представиться маркизе де Вильмер.

Ты просила описать ее, изволь: ей, вероятно, около шестидесяти, но она совсем беспомощна и редко встает из кресел; и лицо у нее такое измученное, что с виду ей дашь не меньше семидесяти пяти лет. Красавицей она, вероятно, никогда не была и хорошим сложением не отличалась, но во всей ее стати есть что-то выразительное и характерное. Волосы у нее очень темные, замечательные глаза, которые смотрят сурово и в то же время прямодушно. У нее длинный нос, чуть ли не до верхней губы. Рот, некрасивый и очень большой, обычно искривлен высокомерной гримасой. Но стоит маркизе улыбнуться, а улыбается она охотно, – и лицо ее становится одухотворенным. Мое первое впечатление подкрепила наша беседа. Женщина она, видимо, очень добрая, но не от природы, а по рассудку, натура скорее волевая, нежели жизнерадостная. Она наделена острым умом и хорошо образованна. Словом, мало отличается от портрета, нарисованного нам госпожой д'Арглад.

Когда меня привели в комнаты, маркиза сидела одна. С подчеркнутой любезностью она усадила меня рядом, и вот вкратце наша беседа.

– Мне вас настоятельно рекомендовала госпожа д'Арглад, которую я глубоко уважаю. Я знаю, вы из хорошего дома, не без способностей, отличаетесь покладистым нравом и безупречной репутацией. Поэтому мне искренне хотелось бы с вами договориться и сойтись к нашему взаимному удовольствию. А для этого нужно, чтобы, во-первых, вам подошли мои предложения и, во-вторых, чтобы не чересчур отличались наши взгляды на жизнь, иначе не миновать частых разногласий. Обсудим первое условие: я вам кладу тысячу двести франков в год.

– Мне говорили об этом, сударыня, и я согласна.

– Меня предупреждали, что, вероятно, вознаграждение покажется вам недостаточным.

– Говоря по правде, положение мое таково, что эта сумма не покроет всех моих нужд, но госпожа маркиза не станет поступаться своими интересами, и коли я к вам пришла…

– Вы считаете, что жалованье слишком мало? Не кривите душой.

– Так определенно я не сказала бы, но, очевидно, оно больше, чем стоят мои услуги.

– Я этого не говорила, а вы так утверждаете из скромности. Стало быть, вы опасаетесь, что назначенной суммы вам не хватит на содержание? Пусть это вас не заботит, я все улажу. У меня вы станете тратить только на наряды, а по мне, пусть они будут самые скромные. А вы любите наряжаться?

– Да, сударыня, очень люблю, но если вы нетребовательны по части платьев, я сумею обойтись самым необходимым.

Я ответила так искренно, что маркиза даже удивилась. Вероятно, мне нужно было, преодолев привычку, отвечать не так поспешно. Маркиза немного помолчала, потом, улыбнувшись, сказала:

– Вот как? А почему вы любите наряды? Вы молоды, хороши собой и бедны; полагаю, у вас нет ни надобности, ни права тратить на них деньги.

– По правде говоря, так мало права, – ответила я, – что, как видите, я одета очень скромно.

– Все это так, но вы страдаете, что ваше платье не по моде?

– Нет, сударыня, ни капельки; я утешаюсь тем, что так нужно. Я, вероятно, необдуманно сказала вам, что люблю наряды, и вот теперь вы подозреваете меня в легкомыслии. Отнесите этот ответ за счет моего простодушия, сударыня. Вы спросили, какие у меня вкусы, и я ответила так, точно имела честь быть с вами давно знакомой. Очевидно, я допустила неловкость, простите меня.

– Иначе говоря, – продолжала маркиза, – знай я вас издавна, мне было бы известно, как покорно и безропотно вы сносите тяготы вашего положения?

– Вы совершенно правы, сударыня.

– Хорошо. Такая неловкость мне по душе. Искренность я ценю превыше всего и даже почитаю ее больше рассудительности… Посему будьте со мной чистосердечны и скажите, отчего за ничтожное жалованье вы пошли компаньонкой к старой, больной женщине, которая вдобавок, вероятно, и очень скучна?

– Во-первых, сударыня, мне сказали, что вы остроумны и добры, стало быть, скучать мне с вами не придется; но даже если меня не ждут развлечения, мой долг велит покорно сносить все и не сидеть сложа руки. Мой отец не оставил нам ничего, но сестра счастливо вышла замуж, и я жила с ней, не зная забот. Ее муж, своим достатком обязанный только службе, недавно умер, и его долгая и тяжкая болезнь поглотила все наши сбережения. Разумеется, теперь сестру с четырьмя детьми должна содержать я.

– На тысячу двести франков? – изумилась маркиза. – Помилуйте, но это невозможно. Боже мой, госпожа д'Арглад даже не обмолвилась об этом. Она, конечно, опасалась, как бы ваше бедственное положение не внушило мне недоверия. Как она меня плохо знает! Ваша самоотверженность привлекает меня, и если к тому же мы друг с другом сговоримся, вы, несомненно, почувствуете мое к вам расположение. Доверьтесь мне, и я с радостью помогу вам.

– Ах, сударыня, – отвечала я, – не знаю, посчастливится ли мне попасть в ваш дом, но позвольте поблагодарить вас за доброту и великодушие. – И с этими словами я проворно поцеловала руку маркизы, к явному ее удовольствию.

– А вдруг окажется, – сказала маркиза, помолчав и словно усомнившись в правильности первого впечатления, – что вы легкомысленны и немного ветренны?

– Этих недостатков за мной не водится.

– Надеюсь, но вы очень привлекательны. Это от меня тоже скрыли, а теперь чем внимательнее на вас смотрю, тем больше убеждаюсь, что вы удивительно хороши собой. Говоря по правде, меня это несколько тревожит.

– Отчего же, сударыня?

– Отчего? Ваш вопрос вполне законен. Видите ли, дурнушки почитают себя красавицами и, стараясь понравиться, выглядят смешными. Пожалуй, то, что вы привлекательны, стоит счесть за благо… Лишь бы вы этим не злоупотребляли. Послушайте, если вы вправду такая хорошая девушка и вдобавок сильная натура, расскажите мне немного о вашем прошлом. Любили

ли вы кого-нибудь? Любили, не так ли? Иначе и быть не может. Вам двадцать два или двадцать три года…

– Мне, сударыня, двадцать четыре, но я могу рассказать вам только о единственном моем увлечении, да и то в двух словах. В семнадцать лет за меня сватался один господин. Он нравился мне, но, узнав, что мой отец завещал нам одни долги, сразу пошел на попятный. Я очень огорчилась, но забыла его и поклялась никогда не выходить замуж.

– Вы забыли о нем только из досады!

– Нет, сударыня, по здравому рассуждению. У меня нет приданого, но есть некоторые достоинства. Неразумный брак меня не привлекает, и я не только не досадовала, а даже простила того, кто оставил меня; простила ему все в тот день, когда увидела, что моей сестре и ее детям грозит нищета, и поняла, как страдает умирающий отец, которому нечего оставить своим сиротам.

– А вы встречались потом с этим вероломцем?

– Никогда. Он женился, и я его вычеркнула из памяти.

– И с тех пор вы ни о ком не помышляли?

– Ни о ком, сударыня.

– Как вам это удалось?

– Сама не знаю. Очевидно, было недосуг думать о себе. Когда люди очень бедны и борются с нищетой, у них всегда пропасть дел.

– Но вы так красивы! Вероятно, многие добивались вашей благосклонности?

– Нет, сударыня, такой человек не появился, да я и не верю, что кто-нибудь станет ухаживать за женщиной, если она его не поощряет.

– Рада это слышать, тут мы с вами единомышленницы. Стало быть, в будущем вы за себя не боитесь?

– Я ничего не боюсь, сударыня.

– А вы не думаете, что это сердечное одиночество омрачит вам душу и озлобит вас?

– Нет, не думаю. У меня по природе веселый нрав. Даже в самые тяжелые годы я не теряла бодрости духа. О любви я не мечтаю – к фантазиям не склонна и вряд ли уже смогу перемениться. Вот, сударыня, и все, что могу о себе рассказать. Угодно вам принять меня в дом такой, какой я себя представила? Ведь иной представиться вам я не могла – иной я себя не знаю.

– Да, я принимаю вас такой, какая вы есть: красивая, чистосердечная, сильная духом. Остается лишь выяснить, есть ли у вас те маленькие таланты, которые мне требуются.

– Что мне нужно делать?

– Во-первых, болтать со мной, но тут я совершенно удовлетворена. Потом читать мне вслух, немного играть на фортепьяно.

– Испытайте меня сейчас же, и если вы останетесь довольны моими скромными дарованиями…

– Да, да, – сказала маркиза, давая мне в руки книгу, – почитайте мне. Я хочу полностью пленниться вами.

Не успела я закончить страницу, как маркиза отняла у меня книгу, заметив, что читаю я превосходно. Теперь дело было за музыкой. В комнате стояло фортепьяно. Маркиза спросила, умею ли я играть с листа, и поскольку я в этом довольно сильна, мне не составило труда угодить ей и на этот раз. Под конец маркиза сказала, что знает мой почерк и слог по письмам, которые

ей показывала госпожа д'Арглад, и надеется, что я прекрасно справлюсь с обязанностями секретаря. Потом она отпустила меня и, протянув руку, наговорила на прощание много любезностей. Я попросила освободить меня на завтрашний день, чтобы навестить кое-кого из знакомых, и маркиза разрешила перебраться к ней в субботу…

Милая сестра, от этого письма меня оторвали. Какая приятная неожиданность! Госпожа де Вильмер прислала записку, всего несколько слов, которые я тут же переписываю для тебя.

„Позвольте, прелестное дитя, в счет будущего жалованья послать небольшую сумму для детей вашей сестры и это платье для вас. Вы любите наряжаться, а можно ли не потакать слабостям тех, кого любишь? Итак, решено – ежемесячно вы будете получать сто пятьдесят франков, а вашим гардеробом я займусь сама".

Как маркиза добра и по-матерински великодушна! Я знаю, что всем сердцем полюблю эту женщину, которую еще недостаточно оценила. Она намного добрее, чем я думала. Вкладываю в конверт ассигнацию в пятьсот франков. Скорей запасись дровами, купи шерстяные юбочки для Лили и время от времени лакомьтесь цыплятами. Себе купи вина, у тебя же больной желудок, но его не так трудно вылечить. Не забудь переложить в комнате камин – он страшно дымит, просто нестерпимо. Дым может повредить глазам детей, а у моей крестницы они такие красивые!

Смотрю на подаренное платье и сгораю со стыда. Платье изумительное, серебристо-серое. И зачем только я сказала, что люблю наряды? Как это глупо! Я вполне удовлетворилась бы платьем за сорок франков, а что вышло! Сама буду носить платье за двести франков, а бедная сестра штопает старые лохмотья. Право, мне так совестно, но не думай, что этот подарок меня унижает. Уверена, что полностью отплачу маркизе за ее доброту ко мне. Видишь, Камилла, стоило мне взяться за дело, как сразу нам везет! Сразу я попала к прекрасной женщине, жалованье получила большее, чем рассчитывала, и вдобавок меня балуют и лелеют, как ребенка, которого собираются удочерить. А ты целых полгода отговаривала меня от поездки, во всем себе отказывала и из себя вон выходила при одном упоминании, что из-за тебя я хочу работать. Выходит, плохая ты мать, сестричка! Разве наши дорогие дети не важнее всего на свете, даже нашей взаимной привязанности? Честно говоря, я боялась, что затея провалится. Я истратила на дорогу последние деньги, а могла маркизе не понравиться и вернуться домой ни с чем. Но Господь не оставил меня, сестра! Все утро я молилась Ему и просила, чтобы Он наделил меня красноречием, обходительностью и кротостью. Сейчас ложусь спать – совсем падаю от усталости. Тебя, дорогая моя, люблю больше всего на свете и крепче самой себя. Ты только меня не жалей: сегодня я счастливейшая из смертных, хотя мы и в разлуке и мне нельзя взглянуть на спящих малышей. Теперь ты видишь сама, что эгоизм не приносит счастья. Я здесь одна, я покинула все, что так дорого сердцу, но перед сном я стану на колени и, плача от радости, возблагодарю Господа за все.

Каролина».

Пока мадемуазель де Сен-Жене писала письмо сестре, маркиза де Вильмер беседовала в будуаре с младшим сыном. Ее просторный дом в Сен-Жерменском предместье приносил хороший доход, но маркиза, некогда богатая, а нынче сильно стесненная в средствах (причину читатель узнает позже), занимала с недавнего времени третий этаж, сдавая второй внаем.

– Скажите, матушка, – спросил маркиз, – вы довольны новой компаньонкой? Слуги сообщили мне о ее приезде.

– Дорогой мальчик, – отвечала маркиза, – могу сказать вам, что она меня очаровала.

– Правда? Чем же?

– Право, не знаю, надо ли вам это говорить. Боюсь, как бы от одного рассказа вы не потеряли голову!

– Напрасно боитесь, матушка, – невесело отозвался молодой человек, хотя маркиза явно старалась рассмешить его, – будь я непомерно влюбчив, я и тогда не забывал бы о долге беречь фамильную честь и заботиться о вашем спокойствии.

– Да, друг мой, я знаю, что, имея дело с вами, можно не тревожиться: вы не уроните нашего доброго имени. Посему скажу вам так: эта душечка д'Арглад прислала мне жемчужину, алмаз, и из-за этого чуда природы я сразу наделала глупостей.

Маркиза пересказала беседу с Каролиной и так описала сыну ее внешность:

– Рост у нее, пожалуй, средний, сложена прекрасно, маленькие ступни, детские руки, густые пепельные волосы. Черты изящные, цвет лица – кровь с молоком, зубы жемчужные, небольшой правильный нос, прекрасные большие глаза, зеленые, как море, которые смотрят решительно и прямо, без лишней томности и притворной робости, искренне и доверчиво, а это всегда привлекает и располагает к себе. На провинциалку она не похожа, манеры такие хорошие, что даже их не замечаешь. В ее скромном платье много вкуса и утонченности. В ней есть все, чего я боялась, и нет ни капли того, что меня пугало. Иначе говоря, красота ее поначалу внушила мне недоверие, но безыскусность и непритязательность рассеяли всякие сомнения. А какой у нее голос и произношение! Чтение превращается в настоящую музыку. Потом она явно даровитая музыкантша: словом, все свидетельствует об ее уме, трезвости, кротости и доброте. Преданность ее сестре, которой она, конечно, приносит себя в жертву, настолько тронула и поразила меня, что я, забыв о бережливости, назначила ей жалованье куда большее, чем собиралась.

– Она торговалась с вами? – спросил маркиз.

– Напротив, сразу приняла то, что я ей положила.

– В таком случае, матушка, вы поступили похвально, и я счастлив, что наконец станете делить досуг с достойной собеседницей. Слишком долго вы терпели рядом эту старую деву, лакомку и соню, которая только докучала вам. Теперь же, когда ее сменило настоящее сокровище, было бы грешно не оценить его по достоинству.

– То же самое сказал мне ваш брат, – ответила маркиза. – Вы оба, мои дорогие, не любите считать деньги, и боюсь, не слишком ли поспешила я завести себе такую дорогую забаву.

– Но вы так в ней нуждались, – живо отозвался маркиз, – и вам не стоит упрекать себя за доброе дело.

– Возможно, друг мой, но все же я поторопилась, – озабоченно сказала маркиза. – Человек не всегда вправе делать добро.

– Ах, матушка! – воскликнул маркиз, и в голосе его прозвучали негодование и горечь. – Если вы решитесь отказаться даже от радости подавать милостыню, каким же преступником в ваших глазах должен выглядеть я?

– Преступником? Вы? О чем вы? – возразила встревоженная мать. – Дорогой друг, вы никогда ничего дурного не совершали.

– Простите, матушка, – взволнованно продолжал маркиз, – я совершил преступление в тот день, когда из уважения к вам обязался заплатить долги старшего брата.

– Молчите! – бледнея, воскликнула маркиза. – Никогда не заводите этого разговора. Мы все равно не поймем друг друга.

И, желая смягчить невольную резкость своих слов, она протянула маркизу руки. Он поцеловал их и немного погодя удалился.

На следующий день Каролина де Сен-Жене вышла из гостиницы, чтобы отправить письмо сестре и навестить кое-кого из знакомых, с которыми, живя в провинции, она поддерживала переписку. Это были старинные друзья ее семейства. Одних она не застала дома, другим оставила визитные карточки, не указав адреса, поскольку собственного пристанища у нее больше не было. Каролине взгрустнулось – она чувствовала себя такой потерянной и несвободной в этом чужом городе. Но она не стала долго размышлять о своей незавидной судьбе. Она раз и навсегда запретила себе расслабляющую меланхолию (боязливость была ей несвойственна), и самое тяжкое испытание не могло ожесточить ее и озлобить. Каролина отличалась поразительной жизненной силой, энергией, тем более замечательной, что сочеталась она с трезвой рассудительностью и полным отсутствием эгоизма. В дальнейшем мы по мере сил постараемся раскрыть и объяснить этот редкий человеческий характер. Читателю же необходимо помнить одну тривиальную истину, а именно: невозможно объяснить и растолковать до конца характер другого человека. Ведь в душевных глубинах таятся некие силы или слабости, и зачастую человек не может их проявить только потому, что сам себя не понимает. Да не посетует читатель, если наше истолкование лишь приблизится к истине, ибо полностью охватить ее невозможно и никто до конца не прояснит и не разгадает вечную тайну человеческой души.

II

Итак, Каролина разъезжала в омнибусе и гуляла по парижским улицам, грустя и радуясь большому городу, где она выросла в полном достатке и откуда в лучшую пору своей жизни уехала, не имея ни гроша за душой и никаких надежд на будущее.

Дабы впредь не возвращаться к прошлому Каролины, вкратце расскажем читателю о тех печальных, но обыденных житейских перипетиях, о которых она вскользь сообщила маркизе де Вильмер.

Каролина была дочерью дворянина из Нижней Бретани, жившего в окрестностях Блуа, и девицы де Гражак, родом из Веле. Мать свою она помнила смутно. Госпожа де Сен-Жене умерла на третьем году замужества, произведя на свет Камиллу и заручившись обещанием Жюстины Ланьон, что в течение нескольких лет она станет растить ее детей.

Жюстина Ланьон, по мужу Пейрак, была дородная и добрая крестьянка из Веле. По своей воле она прожила в доме господина де Сен-Жене восемь лет; сперва нянчила Каролину, потом уехала к своей семье, но вскоре вернулась и, вместо того чтобы вскармливать молоком своего второго ребенка, выкормила младшую дочь «дорогой своей барыни». Благодаря Жюстине Ланьон Каролина и Камилла узнали материнскую заботу и ласку. Однако их вторая мать не могла оставить собственного мужа с детьми на произвол судьбы. В конце концов ей пришлось уехать в деревню, а господин де Сен-Жене отвез дочерей в Париж, где они получили воспитание в одном модном монастыре.

Но, поскольку парижская жизнь была ему не по карману, он снял себе комнату и наведывался в столицу два раза в год, на Пасху и на каникулы, которые проводил как подобает состоятельному человеку. Целый год он копил деньги, чтобы в эти дни семейного веселья ни в чем не отказывать дочерям: то были прогулки, концерты, посещения музеев, паломничества в королевские замки, лукулловы пиры, словом – все утонченные прелести наивной, патриархальной и в то же время бесшабашной жизни. Дочерей своих отец боготворил. Они были прекрасны, как ангелы, и доброта их не уступала красоте. Как он любил гулять с изящно одетыми дочерьми, лица которых были гораздо свежее платьев и лент, только накануне купленных в лавке! Он показывал своих прелестниц солнечному, яркому Парижу, где почти никого не знал, но где взгляд любого прохожего был ему дороже, чем самые горячие знаки внимания всей провинции. Превратить этих обворожительных барышень в парижанок – истинных парижанок –

он мечтал всю жизнь. Ради этого он был готов растратить все свое состояние, в чем, впрочем, и преуспел.

Эта приверженность к веселой парижской жизни совсем еще недавно была поистине роковой страстью, владевшей не только большинством зажиточных провинциалов, но целыми сословиями. Каждый знатный иностранец, мало-мальски просвещенный, бросался очертя голову в Париж, словно школьник на рождественских каникулах, с болью в сердце расставался с этим городом и остаток года только и делал, что хлопотал дома о получении заграничного паспорта, чтобы снова вернуться во Францию. Не будь у русских или поляков так строги законы, которые велят им жить у себя на родине, они, на зависть друг другу, растратили бы свои огромные состояния в вихре парижских наслаждений.

Барышни де Сен-Жене по-разному пользовались плодами своего изысканного воспитания. Младшая, прехорошенькая Камилла, упивалась тем же, чем упивался ее отец, на которого она была похожа лицом и характером. Она безумно любила роскошь и даже не помышляла о том, что может оказаться в нищете. Кроткая, любящая, но недалекая Камилла усвоила изящные манеры, научилась со вкусом одеваться и кокетничать.

Первые три месяца в монастыре она грустила и жалела о промчавшихся каникулах, три последующих месяца немного трудилась в угоду сестре, которая постоянно ее журила, остаток же времени мечтала о приезде отца и о новых увеселениях.

Каролина пошла скорее в свою мать, женщину серьезную и энергическую. Правда, веселостью нрава она не уступала сестре и даже с большим увлечением, чем Камилла, предавалась забавам. Она с большей радостью наряжалась, гуляла, бывала в театре, хотя наслаждалась этими благами по-иному. Каролина была гораздо умнее Камиллы, и, хотя творческой жилки у нее не было, она глубоко понимала истинное искусство. Каролина все делала виртуозно, иначе говоря – утонченно и блестяще выражала чужие мысли, декламировала стихи, играла с листа. Говорила она мало, но всегда к месту, удивительно ясно и толково. И даже если эти мысли были почерпнуты из романов, пьес и музыкальных произведений, в устах Каролины они приобретали свежесть и новизну. Она умела прибавить блеску чужому таланту и, сложись ее жизнь иначе, стала бы сама талантливой исполнительницей. Но этим ее дарованиям было суждено остаться втуне. В десять лет она начала учиться, в семнадцать все кончилось. А произошло вот что. Господин де Сен-Жене имел около двенадцати тысяч франков ренты и надеялся обеспечить дочерям будущее, достойное их красоты. Желая учетверить свой достаток, он с завидной неумелостью занялся денежными аферами, которые разорили его дотла.

Смертельно бледный и словно пораженный громом, он однажды приехал в Париж и безо всяких объяснений, лишь сославшись на лихорадку, увез дочерей в свое небольшое поместье. В течение трех месяцев он таял на глазах и умер от горя, рассказав о своем банкротстве будущим зятьям, двум принятым в доме воздыхателям из числа тех, что вились вокруг барышень де Сен-Жене со дня их появления в Блуа.

Жених Камиллы, чиновник и порядочный человек, искренне влюбленный в невесту, женился на ней. К Каролине же сватался помещик. Он повел себя сдержанно, сослался на родительский запрет и исчез. Каролина мужественно это перенесла. На ее месте слабая духом Камилла умерла бы от горя. Поэтому жених ее и не оставил. Слабость духа чаще внушает уважение, чем душевная стойкость. Ее ведь не увидишь глазами, она и гибнет молча. Убить душу можно совершенно незаметно. Поэтому на сильных людей валятся все несчастья, а слабые выходят сухими из воды.

По счастью, Каролина не питала страсти к жениху. В любвеобильной душе ее лишь укоренились доверие и приязнь, но тайная печаль и крепнущий недуг отца так сильно занимали ее мысли, что ей было недосуг мечтать о собственном счастье. Любовь благородной барышни сродни цветку, что распускается под солнцем надежды. Однако все упования Каролины омрачало предчувствие, что кончина отца неотвратима. В женихе она видела только друга, который

с охотой делил ее горе. За это она уважала его и была признательна. Скорбь отравила ей счастье и первую любовь, которая так и не успела расцвести.

Отказ жениха оскорбил Каролину, но не сломил ее душу. Она так преданно любила отца и так жалела его, что крушение ее собственного будущего казалось ей не такой уж большой бедой. Она покорно ее снесла, но оскорбления не простила и, отомстив обидчику тем, что вычеркнула его из памяти, питала теперь к мужчинам смутную неприязнь, равно как и недоверие к их льстивым словам. Исцеленная и окрепшая духом Каролина, та, с которой познакомился читатель, простодушно полагала, что теперь никакие соблазны ей не страшны.

Нет нужды рассказывать о том, как она прожила эти трудные годы. Всем известно, что утрата как большого, так и маленького состояния не происходит в два дня. Люди назначают кредиторам последний срок, надеясь спасти хотя бы остатки, переживают целую полосу сомнений, разочарований, нечаянных радостей, пока наконец, видя, что все усилия бесплодны, поневоле не примиряются со случившимся. Камилла была до крайности подавлена несчастьем и до последней минуты не хотела в него верить. Однако она благополучно вышла замуж и жила в достатке. Дальновидная Каролина меньше страдала от того бедственного положения, в котором оказалась по прихоти судьбы. Ее шурин, не желая слышать о разлуке с ней, великодушно предложил разделить с ними семейный достаток. Но Каролина, прекрасно понимая, что жизнь ее кончена, стала вдвойне самолюбивой. Камилла была нерасторопная, плохая хозяйка, а меж тем семейство все росло и дети требовали больше забот. И Каролина сделалась домоправительницей, нянькой, одним словом – верной служанкой в доме молодых супругов и исполняла трудные свои обязанности так самоотверженно, умно и споро, что под ее опекой все благоденствовали и сама она оказывала услуг гораздо больше, чем оказывали ей. Потом муж Камиллы заболел, скончался и открылись старые долги, о которых он умалчивал, в надежде исподволь погасить их из жалованья. Короче говоря, Камиллой овладели уныние, страх и смятение, а от призрака близкой нищеты молодая вдова совсем пала духом.

Как мы уже говорили, Каролина не знала, что делать. Она хотела спасти сестру трудами собственных рук и в то же время боялась оставить ее одну. Некий немолодой господин малопривлекательной наружности, но весьма зажиточный, предложил ей руку, рассчитывая заполучить примерную хозяйку. Каролина сперва смутно, а потом отчетливо поняла, что сестра ждет от нее жертвы. И Каролина принесла ее, но несколько иначе. Ради Камиллы она была готова поступиться свободой, независимостью, досугом, даже жизнью, но загубить душу, убить себя ради семейного благополучия не захотела. Она простила сестре материнский эгоизм и как ни в чем не бывало предприняла тот решительный шаг, о котором читателю уже известно. Она покинула Камиллу в деревенском домике, снятом неподалеку от Блуа, и уехала в Париж, где, как мы знаем, была милостиво принята госпожой де Вильмер, историю которой в свой черед мы тоже считаем своим долгом поведать читателю.

У каждого семейства свои раны, и любой семейный достаток не без трещин. Рана истекает кровью сердца, через трещины утекает благополучие. У знатного семейства де Вильмер был свой червь-точитель, беспечный мот – старший сын маркизы де Вильмер. В первом браке она была замужем за герцогом д'Алериа, спесивым и своевольным испанцем, который сделал ее жизнь как нельзя более несчастной, но после пяти грозовых супружеских лет оставил ей довольно большое состояние и обожаемого сына, красивого и умного, которому суждено было стать неисправимым скептиком, неуемным расточителем и отчаянным повесой.

Выйдя замуж второй раз, вторично став матерью и вторично овдовев, маркиза де Вильмер обрела в младшем сыне Урбене преданного и великодушного друга, нравственная чистота которого была так же очевидна, как распутство его брата. Отец оставил Урбену значительное состояние, посему он не сильно сокрушался из-за материнского разорения, хотя в пору нашего знакомства с маркизой ее кошелек был почти что пуст – такую беспутную жизнь вел молодой герцог.

К тому времени ему уже исполнилось тридцать шесть дет, а маркизу шел тридцать третий год. Читатель, вероятно, заметил, что герцогиня д'Алериа несколько поспешила стать маркизой де Вильмер. Однако никто ее за это не осудил. Второго мужа она горячо любила. Поговаривали даже о том, как чисто и достойно она любила его задолго до первого вдовства. Такая уж любвеобильная и увлекающаяся душа была у маркизы! Поэтому два года без малого она, обезумев от горя, оплакивала безвременную кончину второго мужа. Видя ее отчаяние, родственники покойных мужей стали подумывать, не учредить ли над ней опеку и не заняться ли самим воспитанием сыновей. Узнав об этом, маркиза овладела собой. Природа переупрямила самое себя, душа умиротворилась, материнские чувства проснулись. В страстном порыве прижала она к груди своих сыновей, плача, покрыла их поцелуями, и этот душевный перелом вернул маркизе ясность мысли и самообладание. Конечно, она до времени состарилась, одряхлела, так и не оправилась от болезни, стала немного чудаковатой, но не утратила прежней предприимчивости, великодушия в привязанностях и благородства в отношениях со светом. С той поры стали расхваливать силу ее духа, которая долгое время как бы дремала в любви и горе, пока наконец, пробудившись, не обернулась жизнеспособностью.

Наш рассказ довольно объясняет ее нынешнее положение. Теперь же позволим Каролине де Сен-Жене по-своему оценить маркизу и ее сыновей.

Письмо госпоже Камилле Эдбер

«Париж, 15 марта 1845

Да, сестричка, устроилась я превосходно, о чем уже тебе не раз писала. Комната у меня уютная, камин, чудесный выезд, прислуга и весьма обильный стол. Если угодно, могу считать себя богатой маркизой, поскольку, неотлучно находясь при моей престарелой госпоже, невольно разделяю удобства ее жизни.

Ты сетуешь на то, что пишу чересчур коротко. Но до сегодняшнего вечера я почти не располагала временем. Маркиза испытывала мою преданность, теперь же наконец, поняв, сколь она безгранична, позволяет мне в полночь уйти к себе. Я же могу немного поболтать с тобой, так как ложиться в четыре часа утра уже не надо (маркиза ведь принимает до двух, а потом целый час обсуждает со мной гостей). Я честно сказала маркизе и скажу тебе, что эти бдения начали меня сильно утомлять. Маркиза думала, что я, по ее примеру, встаю поздно, а когда узнала, что в шесть часов утра я уже просыпаюсь и не могу заснуть, великодушно простила мне «провинциальную слабость». Отныне, дорогая, я буду в твоем распоряжении утром или вечером.

Да, эту старую женщину я люблю, люблю глубоко и искренне. Я в плену ее обаяния, прислушиваюсь ко всем советам, в которых сквозит ее ясный и прямой ум. Конечно, она не без предрассудков и порой высказывает мысли, с которыми я никогда не соглашусь. Но в них нет ни капли лицемерия, и даже ее неприязнь к некоторым людям мне нравится, потому что в ее пристрастиях есть честность и убежденность.

Вот уже три недели я вращаюсь в большом свете, так как маркиза, не давая балов, принимает каждый вечер множество визитеров. Если бы ты знала, как все они ничтожны! В провинции я даже не подозревала об этом. Эти светские люди, невзирая на все их лицемерие и отличные манеры, просто пустышки, уверяю тебя. Обо всем судят с чужого голоса, на все вечно жалуются и ничего не умеют делать. Всех поносят и со всеми в лучших отношениях. Даже возмущаться им не дано, а только злословить. Без умолку твердят они, что не за горами страшные беды, а сами живут так, словно они в полной безопасности. Они пустопорожни и воплощают собой бессилие и непостоянство. И среди пошлых говорунов и бестолковых ломак живет старая, горячо мною любимая женщина, которая так откровенна в своих антипатиях и так возвышенно недоступна сделкам с совестью. Подчас кажется, что передо мной выходец

из прошлого века, герцог де Сен-Симон в женском обличье[2]. Подобно ему, маркиза благоговейно почитает свое сословие и столь искренне не сознает власть денег, которой так слабо и притворно возмущается свет.

Мне, как ты знаешь, по душе, когда люди презирают деньги, и даже наши беды не переменили меня, ибо мое святое достояние – жалованье, которое нынче зарабатываю с достоинством и даже не без гордости, – деньгами я не называю. Это мой долг, основа моей чести. И роскошь, нажитая или сохраненная благочестивой жизнью, не внушает мне того философского пренебрежения, которое всегда таит в себе известную зависть. Нет, грязным словом «деньги» я называю благополучие, которое становится предметом вожделений, надежд, страсти и приобретается браками по расчету, предательством политических убеждений, семейными интригами вокруг наследства. И тут я полностью на стороне маркизы, которая не прощает неравные браки по расчету и прочие низости, общественные и частные.

Поэтому мужественно и мудро взирает маркиза на то, как безжалостно расточается ее состояние. Я тебе уже писала о том, что старший сын маркизы, герцог д'Алериа, вконец разорил ее, а маркиз, младший сын от второго мужа, ревностно печется о ней, и только его стараниями маркиза теперь ни в чем не нуждается.

Пора, пожалуй, тебе описать этих господ, о которых прежде я лишь вскользь упоминала. Маркиза я увидела в первый же день, как водворилась в доме. Каждое утро – с двенадцати до часу, а по вечерам – от одиннадцати до полуночи он бывает у своей матери. Вдобавок они часто вместе обедают. Словом, у меня было достаточно времени для наблюдений, и, по-моему, я хорошо изучила маркиза.

У меня такое чувство, что этот молодой человек не знал юности. Он слабого здоровья, и его возвышенный и утонченный дух борется с тайным недугом или природной склонностью к меланхолии. Наружность у него удивительная. С первого взгляда он не кажется привлекательным, но чем больше видишь его, тем сильнее он располагает к себе. Роста он среднего, ни красив, ни безобразен. В платье нет ни небрежности, ни изысканности. Вероятно, он, сам того не сознавая, ненавидит все, что останавливает внимание. Незаурядность его понимаешь сразу. Немногословные суждения маркиза полны тонкого и глубокого смысла, а когда он чувствует себя непринужденно, глаза у него такие прекрасные, умные и добрые, что, право, ничего подобного я не видала.

Но лучше всего рисует маркиза его отношение к матери, поистине достойное восхищения. Я знаю, что госпожа де Вильмер пожертвовала несколько миллионов – все свое состояние, оплачивая безрассудные забавы старшего сына, а маркиз ни разу не нахмурился, не сделал ни единого замечания, не выказал ни досады, ни сожаления. И чем больше маркиза потакает неблагодарному и противному герцогу, тем ласковее, почтительнее и заботливее обходится с ней младший сын. Сама видишь, не уважать этого человека нельзя, а я так просто благоговею перед ним.

Кроме того, беседовать с ним необыкновенно приятно. В обществе он обычно молчит, но в тесном кругу, преодолев стеснение, поддерживает разговор с необычайным обаянием. Он человек не просто образованный, а настоящий кладезь премудрости. Читал он, думаю, пропасть, так как, о чем бы ни зашла речь, высказывает интересные суждения. Его беседы с матерью так нужны ей, что, когда дела прерывают их или укорачивают, она потом целый день в тревожном и каком-то растерянном расположении духа.

Поначалу, как только он появлялся у маркизы с утренним визитом, я благоразумно удалялась, тем более что этот возвышенный и чрезвычайно скромный человек робел в моем присутствии, оказывая мне этим незаслуженную честь. Однако на третий или четвертый день он, собравшись с духом, кротко спросил меня, отчего при его появлении я сразу же исчезаю. Все равно я никогда не посмела бы мешать их разговорам, но маркиза сама упросила меня не ухо-

дить и со свойственной ей прямотой объяснила, зачем я нужна. Слова ее прозвучали немного странно:

– Мой сын – ипохондрик, – сказала она, – и мало похож на меня. Сама я либо очень воодушевлена, либо глубоко подавлена. Грустить я не способна. Мечтательные натуры меня даже раздражают. Ипохондрия моего сына огорчает меня и тревожит, и никак я не могу взять ее в толк. Когда мы с ним вдвоем, я всегда стараюсь отвлечь его от печальных мыслей, вечером же, когда собираются человек пятнадцать – двадцать гостей, он замыкается в себе и дичится общества. Для того чтобы я могла по-настоящему насладиться его умом – а это величайшее мое счастье и единственное утешение в жизни, – нам не хватает собеседницы, притом достойной и приятной. Тогда маркиз не поскупится на обаяние, уступив сначала вежливости, а после бессознательному кокетству. Такой уж он человек. Обязательно нужно рассеять его грустные размышления. Однако со мной он держится безукоризненно, так что у меня нет ни права, ни желания вступать с ним в открытую борьбу, а при собеседнице, даже если она будет молчать и только слушать его, он поневоле станет красноречив. Ведь многословия он не любит, так как боится прослыть педантом, но еще пуще боится углубляться в свои раздумья и показаться невежей. Посему, дорогая, вы окажете нам обоим огромную услугу, если не будете оставлять нас наедине.

– А если, сударыня, – ответила я, – вам нужно поговорить с сыном о делах семейных, как быть тогда?

И тут маркиза мне обещала, что в этом случае она предупредит меня, задав вопрос: „Не отстают ли часы?”»

III

Продолжение письма к госпоже Эдбер

«Вчера вечером я уснула и не дописала письма. Сейчас девять часов утра, с маркизой я увижусь в полдень, так что у меня много времени и я могу кое о чем тебе рассказать, дабы ты полностью уяснила мое теперешнее положение.

Маркиза, по-моему, я описала довольно живо, и ты можешь без труда представить его себе. Чтобы удовлетворить твое любопытство, я опишу, как протекают дни в этом доме.

Первые две недели было немного трудно. Теперь, когда дела поубавилось, я это понимаю. Ты знаешь, что я не умею сидеть сложа руки, что за последние шесть лет привыкла к постоянным хлопотам. Здесь же, увы, не надо убирать комнат, сто раз на дню сновать взад-вперед по лестницам, гулять и играть с детьми. Нет даже собаки, с которой можно побегать и порезвиться самой. Животных маркиза терпеть не может. Раза два в неделю она выходит из дому, садится в карету и едет прогуляться по Елисейским Полям. Маркиза называет это гимнастикой. Беспомощная и слабая, она подымается по лестнице только с помощью слуг, но им не доверяет, так как однажды они ее уронили. В гости она не выезжает, а принимает у себя. Душевные силы маркизы, вся ее энергия уходят на размышления и на беседы. Вести их она большая мастерица и знает про то сама. Разговоры она любит не ради детского тщеславия; меньше всего она заботится о том, чтобы привлечь внимание собеседника, и больше старается высказать те мысли и чувства, которые волнуют ее на самом деле.

Как видишь, существо она беспокойное и нередко в запальчивости судит с горячностью даже о таких вещах, которые мне кажутся маловажными. Вероятно, она никогда не знала счастья, так как по натуре очень требовательна, поэтому совместное существование с маркизой утомительно, хотя я к ней и очень привязана. Руки ее давно отвыкли от дела, но зрение у нее превосходное, и пальцы еще легко движутся, так что она довольно сносно играет на фор-

тепьяно. Но маркиза пренебрегает всем, что отвлекает ее от беседы, и еще ни разу не просила меня почитать или развлечь ее музыкой. Маркиза говорит, что бережет мои таланты для деревни, куда мы поедем через два месяца и где будем жить почти одни. Мне не терпится туда поехать, так как здесь я все больше сижу на месте. Потом, в комнатах у моей милой госпожи всегда очень жарко. К тому же маркиза беспрестанно душится, а будуар ее заставлен пахучими цветами. Смотреть на них приятно, но воздух такой тяжелый, что нечем дышать.

Но самое главное – я тут тоже ничего не делаю. Я пыталась сначала вышивать, но скоро заметила, что маркизу это раздражает. Она спрашивала меня, уж не решила ли я брать поденную работу, срочный и выгодный ли у меня заказ и т. д., по десять раз отрывала от дела какими-нибудь поучениями – только бы я бросила ненавистное ей вышивание. В конце концов я сдалась, иначе с досады маркиза просто занемогла бы. Она была мне за это очень признательна и, чтобы помешать мне снова взяться за пяльцы, простодушно заявила, что женщины, которые берут в руки иголку и губят глаза шитьем, вкладывают в это занятие больше души, чем это кажется им самим. Таким образом, полагает маркиза, они себя отупляют и уже не чувствуют, до чего тоскливо их существование. Она считает, что шить должны лишь заточенные в тюрьму или очень несчастные девушки. Потом, желая позолотить пилюлю, она добавила, что за шитьем я похожа на горничную, а ей хочется, чтобы гости видели во мне ее друга и наперсницу. Она склоняет меня к непрерывным разговорам и донимает вопросами, чтобы дать мне блеснуть своей рассудительностью. Я же противлюсь изо всех сил, так как, когда меня разглядывают и слушают, ничего умного сказать не могу.

Конечно, я делаю все, чтобы не сидеть сложа руки, и очень сожалею о том, что мой добрый друг (а маркиза действительно мой друг) не хочет принимать от меня никаких услуг. Стоит мне немного замешкаться, она уже звонит горничной, чтобы та подняла носовой платок, и еще сетует на мою преданность, не замечая, как мне досадно, что ничем не могу ее выразить.

Ты спрашиваешь, зачем она взяла меня в компаньонки? Сейчас объясню: маркиза принимает гостей с четырех часов, а до этого, вернее после свидания с маркизом, читает газеты и отвечает на письма. Конечно, это я пишу и читаю за нее. Почему она сама этого не делает, не знаю, ей это вполне под силу. Думаю, одиночество сильно тяготит маркизу и внушает ей такой страх, что развеять его занятиями невозможно. Что и говорить, в глубине ее ума или сердца таится нечто мне непонятное. Может, ее испортил свет, в котором она слишком много вращалась? Заниматься делом ее уже не научишь, а наедине с собой она, очевидно, думать не умеет.

Когда я появляюсь у нее в полдень, она мало похожа на ту женщину, с которой я накануне рассталась в ее будуаре. Она точно стареет за ночь на десять лет. Я знаю, что горничные подолгу трудятся над ее туалетом, и во время этой церемонии маркиза не произносит ни слова, так как не выносит неправильного, простонародного языка. Несчастные девушки так утомляют ее (вдобавок она, вероятно, сильно страдает от бессонницы), что утром, когда я прихожу к ней, она иссиня-бледная, еле живая. Но через десять минут все меняется: маркиза заметно веселеет, приободряется и встречает младшего сына, помолодев на десять лет.

О ее письмах распространяться мне не пристало, хотя тайн в них нет; они не связаны ни с требованиями этикета, ни с делами. Маркиза пишет их, так как любит поболтать с друзьями, живущими в других городах. Она говорит, что это одна из возможностей побеседовать и обменяться мыслями с другими людьми, а в этих беседах – ее единственная отрада. Допустим, что это так, только у меня совсем другой вкус. Будь у меня досуг, я с охотой общалась бы только с теми, кого люблю, а ведь вряд ли маркиза любит всех своих корреспондентов – их десятков пять, – которым постоянно пишет, и всех гостей – их две-три сотни, – которых принимает каждую неделю.

Но дело не в моем вкусе, да я и не намерена осуждать женщину, ради которой пожертвовала своей свободой. Это было бы дурно, потому что, не уважай и не почитай я свою госпожу, я без труда могла бы уйти и наняться к другой. Хотя мое благоговение перед маркизой и омра-

чено некоторыми ее причудами, но, думаю, мне везде пришлось бы столкнуться с такими же, если не худшими, поэтому я не вижу причин особенно возмущаться ими и предпочитаю смотреть на все легко и философски. Словом, сестричка, если я и стану бранить здешние порядки или насмехаться над ними, отнеси это к случайным оговоркам в нашей беседе. Мне просто хочется писать тебе откровенно. Уверяю тебя, что здесь ничего нет такого, что доставляло бы мне огорчение или неудовольствие. Для меня самое главное то, что маркиза – женщина сильная, искренняя и участливая. Этим-то и привязала меня к себе госпожа де Вильмер, и я с радостью делаю все, чтобы ее рассеять и развеселить. Что там она ни говори, я-то прекрасно знаю, что живу при ней на положении, которому не позавидует и горничная. Я ее раба, но раба по воле своей, и поэтому чувствую себя такой же свободной и незапятнанной, как моя совесть. Чья душа свободнее, чем душа пленника или изгнанника во имя убеждений?

Когда мы расстались с тобой, сестричка, я об этом и не думала. Мне тогда казалось, что разлуку я не перенесу. И что же? Когда я нынче все взвесила, то получилось, что если я и страдала, так от одного неудобства: очень мало я тут двигаюсь. Но теперь и это уладилось, так что можешь обо мне не тревожиться. Из меня вытянули признание, и теперь я могу рано ложиться спать, а утром гулять в саду у дома. Сад небольшой, но я ухитряюсь делать там длинные прогулки, думаю о тебе и мысленно блуждаю по нашим полям и лугам с тобой и детьми. И от этих дум на душе становится так радостно! Да, но я ни слова еще не написала о герцоге д'Алериа. Наверстываю упущенное.

Я встретилась с ним всего три дня назад. Увидеть его, признаюсь, мне вовсе не хотелось. Я не могу не испытывать ужаса перед человеком, который разорил свою мать и вдобавок слывет порочнейшим господином на свете. И что же? Каково же было мое удивление, когда наружность его не внушила мне отвращения, хотя и не рассеяла прежней неприязни. Со страху я воображала себе его этаким дьяволом с рогами и хвостом… И вот как я встретилась с этим исчадием ада, не зная, что это он и есть. Надобно тебе сказать, что с матерью он обходится донельзя странно. Иногда в течение нескольких недель и даже месяцев навещает ее ежедневно, а потом пропадает, и целыми месяцами о нем ни слуху ни духу; когда же он снова появляется, то маркиза и герцог делают вид, будто расстались накануне. Не знаю, как моя госпожа относится к его поведению. Иногда она вспоминает о своем старшем сыне так спокойно и уважительно, словно речь идет о маркизе, но, как ты можешь догадаться, сама я не смею затрагивать столь щекотливую тему. Правда, однажды маркиза совершенно хладнокровно заметила, что герцог капризен и навещает ее, когда ему заблагорассудится.

Я не сомневалась, что в один прекрасный день он внезапно возникнет в нашем доме, но когда после обеда пошла, по обыкновению, в гостиную проверить, все ли там прибрано так, как велела маркиза, то и думать забыла о герцоге и даже не заметила незнакомца, сидящего в углу на козетке. Я всегда осматриваю лампы и жардиньерки в гостиной, пока маркиза, отобедав, сидит у себя в будуаре, а горничные четверть часа румянят ее и пудрят. Словом, я была поглощена важным делом и, пользуясь случаем, оживленно ходила по комнате, напевая под нос старую песенку, как вдруг, подняв голову, встретилась с большими синими, удивительно ясными глазами, взирающими на меня. Я поклонилась господину и попросила у него извинения. Он приподнялся и попросил извинения тоже, а я, занятая мыслями о гостях и не зная, что сказать этому пришельцу, который всем своим видом, казалось, спрашивал, откуда я взялась, сочла за благо промолчать.

Он встал и, прислонившись к камину, снова уставился на меня скорее благожелательно, чем удивленно. Он был высокого роста, немного грузный, весьма представительный, и – самое удивительное – весьма приятен внешностью. Редко встречаешь такое открытое, располагающее к себе и, если угодно, простодушное лицо. Голос у него бархатный и теплый, произношение и манеры утонченны и благородны. В малейших движениях этой гремучей змеи есть особое очарование, а в улыбке – что-то совсем детское.

Можешь ты это понять? Я, во всяком случае, была так далека от истины, что, словно притянутая этим добрым взглядом, подошла к камину в полной готовности учтиво и благосклонно ответить незнакомцу, если он пожелает начать разговор. Он, казалось, только того и ждал и непринужденно спросил меня:

– Разве мадемуазель Эстер нездорова? – Голос его звучал вкрадчиво и мягко.

– Мадемуазель Эстер уже два месяца как здесь не живет. Я никогда ее не видела, потому что заменила ее.

– Вот уж нет!

– Я вас не понимаю.

– Скажите лучше, что пришли ей на смену. Весна не может заменить зиму. Она ее стирает из памяти.

– В зиме есть тоже своя прелесть.

– О, вы не знали Эстер! Она была колюча, как декабрьский ветер, и стоило ей подойти к человеку, как у него начинало ломить в суставах.

И тут он принялся расписывать бедняжку Эстер, да так беззлобно и смешно, что я, не удержавшись, расхохоталась.

– Слава богу, вы умеете смеяться! – воскликнул он. – Смех в этом доме! И вы часто смеетесь?

– Конечно, если мне смешно.

– Эстер никогда не было смешно. Впрочем, на то были причины: если бы она рассмеялась, все увидали бы ее зубы. О, ради бога, не прячьте свои! Я уже обратил на них внимание, но словом о них не обмолвился. Ничего на свете нет глупее комплиментов. Смею ли узнать ваше имя? Нет, молчите. В свое время я догадался, как зовут Эстер, и сразу окрестил ее Ревеккой. Видите, какой я сердцевед! Теперь мне хочется отгадать ваше имя.

– Попробуйте.

– Так… Имя у вас чистокровной француженки. Луиза, Бланш, Шарлотта?

– Угадали. Меня зовут Каролина.

– Вот видите! И вы приехали из провинции?

– Из деревни.

– Вот как? Отчего же у вас такие белые руки?.. И вам нравится жизнь в Париже?

– Нет, совсем напротив.

– Бьюсь об заклад, что вас принудили родители…

– Никто меня не принуждал.

– Но вам же здесь скучно? Признавайтесь, правда ведь, скучаете?

– Нет, я никогда не скучаю.

– Вы лукавите!

– Клянусь, что говорю чистую правду.

– Значит, вы очень благоразумны.

– Смею надеяться.

– Может быть, расчетливы?

– Нет.

– Тогда восторженны?

– Тоже нет.

– Так в чем же дело?

– Не знаю.

– Как не знаете?

– Я не знаю за собой ничего такого, что заслуживало бы малейшего внимания. Я умею читать, писать и считать. Немного играю на фортепьяно, отличаюсь покладистым нравом и добросовестно выполняю свои обязанности. Поэтому-то я и живу в этом доме.

– О нет! Вы себя совершенно не знаете. Хотите, я вам скажу, какая вы? У вас живой ум и золотое сердце.

– Вы так думаете?

– Уверен. Глаз у меня наметанный, и людей я вижу насквозь. А вы умеете разгадывать людей с первого взгляда?

– Пожалуй, немного умею.

– А что, к примеру, вы думаете обо мне?

– То же самое, что вы сказали относительно меня.

– Это вы говорите из вежливости или из благодарности?

– Нет, просто я так чувствую.

– Прекрасно, благодарю вас. Право, ваши слова мне очень приятно слышать, и не потому, что вы нашли меня умным. Умны все подряд, ум – достояние благоприобретенное, а вот доброта… Стало быть, вы считаете меня хорошим человеком? Тогда… позвольте мне пожать вам руку.

– Зачем же?

– Сейчас я вам объясню. Неужели вы откажете в такой малости? Я прошу вас об этом из самых чистых побуждений.

Он говорил так искренне, и в его облике было что-то такое трогательное, что я, несмотря на необычность его просьбы, проявила необычную уступчивость и доверительно подала руку. Он слегка пожал ее и на мгновение задержал в своей. Глаза его увлажнились, и он произнес немного сдавленным голосом:

– Спасибо вам, и хорошенько заботьтесь о моей матушке.

Я же, поняв наконец, что передо мной герцог д'Алериа и что я дотронулась до руки бездушного распутника, неблагодарного сына, черствого брата, одним словом – необузданного и бессовестного человека, вдруг почувствовала, как ноги у меня подкашиваются, оперлась о стол и так сильно побледнела, что герцог, заметив это, бросился, чтобы поддержать меня, и воскликнул:

– Что с вами? Вам дурно?

Но тут же остановился, увидев, какой испуг и отвращение он мне внушает, а может быть, только потому, что в гостиную вошла маркиза. От нее не укрылось мое смятение, и она взглянула на герцога, как бы спрашивая, что тут произошло. В ответ он лишь почтительно и нежно поцеловал ей руку и справился о здоровье. Я тотчас же покинула их, чтобы прийти в себя и дать им побеседовать наедине.

Когда я вернулась в гостиную, там уже собралось много гостей, и я принялась болтать с госпожой де Д***, которая очень расположена ко мне и вообще, по-моему, прекрасная женщина. Герцога она просто не выносит. От нее я и узнала, какой он дурной человек. Безотчетное желание совладать с той приязнью, которую он внушил мне при встрече, и побудило меня избрать госпожу де Д*** своей собеседницей.

– Так, – сказала она, точно догадываясь, что со мной творится, и поглядывая на герцога, который разговаривал с гостями, стоя подле матери, – наконец-то вы встретились с нашим баловнем! Что же вы о нем скажете?

– Он человек учтивый, хорош собой, и от этого я осуждаю его еще больше.

– Вы правы! Он наверняка очень здоровая натура. Просто невероятно, как после стольких лет беспутной жизни он все еще красив и остроумен. Но не вздумайте ему довериться. Он самый большой развратник на свете, но может отлично прикинуться самой добродетелью, если задумает вас погубить.

– Меня? О нет. Мое положение приживалки спасет меня от его благосклонности.

– Вы ошибаетесь. Вот увидите! Я уже не говорю о том, что ваши достоинства ставят вас выше этого положения. Это каждому видно. Но ему довольно знать, что вы честная девушка, чтобы захотеть сбить вас с пути.

– Не пытайтесь запугать меня. Если б я знала, что в этом доме меня могут оскорбить, я бы и часу не прожила тут, сударыня.

– Нет, этого вам бояться не следует. С достойными людьми он обходится достойно и никогда не позволит себе с вами какой-нибудь неприличной выходки. Если же вы не остережетесь, он уверит вас в том, что он кающийся ангел или непризнанный святой, и тогда вы в ловушке.

Госпожа де Д*** произнесла последние слова с явным сочувствием, что покоробило меня. Я хотела ответить ей, но вспомнила, что как-то слышала от другой престарелой дамы, будто дочь госпожи де Д*** была серьезно скомпрометирована герцогом. При виде его бедная женщина, должно быть, очень страдает, и я понимаю, почему эта добрая и снисходительная особа говорит о герцоге с такой горечью. Однако я не могу взять в толк, отчего она, которая дрожит от гнева при одном упоминании имени герцога, всякий раз заводит о нем речь, стоит нам остаться наедине. Она, верно, думает, что мне на роду написано угодить в сети этого Ловласа, и мстит ему тем, что отвоевывает у него мою бедную душу.

Подумав, я нашла ее опасения немного смешными и, не желая ни сердиться на нее, ни бередить былую боль, решила впредь избегать всяких разговоров о ее заклятом враге. Герцог, впрочем, за весь вечер не перемолвился со мной и словом и с тех пор больше не показывался в доме. И если я и подвергаюсь опасности, то все еще ее не замечаю. Но ты можешь не волноваться, как не волнуюсь я, ибо ни капельки не боюсь людей, которых не уважаю…»

Далее Каролина писала о других встречах и обстоятельствах, которые поразили ее воображение. Поскольку эти частности не имеют прямого отношения к повествованию, мы на время умолчим о них, в ожидании, что они всплывут в рассказе своим чередом.

IV

Примерно в ту же пору Каролина получила письмо, глубоко растрогавшее ее. Мы его воспроизводим, исправив орфографические ошибки и знаки препинания, которые затруднили бы чтение:

> «Милая моя Каролина, дозвольте кормилице вашей звать вас по старинке этим именем. От вашей сестры, утешившей меня письмецом, я узнала, что вы уехали из дому и поступили компаньонкой в Париже. Не могу сказать вам, до чего горько думать, что такой барышне, как вы, на глазах моих родившейся в довольстве, пришлось пойти в люди, а как подумаю, что сделали вы это от доброго сердца да из-за того, чтобы Камилле с детками лучше жилось, так плачу, плачу не переставая. Милая моя барышня, могу вам сказать одно, что благодаря вашим щедрым родителям жизнь моя не из самых худых. У мужа моего хорошее место, немножко он промышляет торговлей. На эти деньги мы обзавелись домом, прикупили земли. Сын у меня в солдатах, а ваша молочная сестра удачно вышла замуж. Поэтому, если когда-нибудь вам понадобятся несколько сот франков, будем рады дать их вам взаймы бессрочно и без процентов. Приняв деньги, вы окажете нам честь и обрадуете людей, которые вас всегда любили. Муж мой знает вас только по моим рассказам, но почитает вас и все говорит: „Приехала бы к нам Каролина, погостила бы сколько душе угодно, а раз она любит ходить пешком и не устает, мы отправились бы с ней

в горы. Захочет, так может остаться в деревне, в школе будет учительствовать; правда, кошелек у нее от этого не распухнет, зато тратиться особенно не на что, и, верно, вышло бы то же самое, что в Париже, где такая дороговизна". Я вам написала слово в слово, как говорит Пейрак, и если сердце вам подскажет, так приготовим вам чистую комнатку и покажем наш дикий край. Вас ведь горами не испугаешь: маленькой вы любили везде лазать, а папенька ваш называл вас „моя козочка". Помните, милая барышня, что если вам плохо живется в услужении, то в незнакомой вам деревне есть люди, которые считают вас лучше всех на свете и молятся о вас денно и нощно, прося господа, чтобы дорогая барышня приехала к ним.

Жюстина Ланьон, по мужу Пейрак
(в Лантриак через Пюи, Верхняя Луара)».

Каролина ответила без промедления.

«Добрая моя Жюстина, милый мой друг, как я плакала над твоим письмом, плакала от радости и благодарности. Я счастлива, что ты привязана ко мне по-прежнему, что четырнадцать лет, прошедшие со дня нашей разлуки, ничего не переменили. Этот день остался в памяти самым мрачным днем, какой мне случалось пережить. Ты была для меня второй матерью, и утратить тебя значило осиротеть во второй раз. Милая моя кормилица, ты так любила меня, что почти забыла своего славного мужа и деточек. Но они позвали тебя, и ты должна была жить с ними, и, судя по твоим письмам, в семье ты узнала счастье. Они отплатили тебе сторицей за меня, потому что ты отдала мне все безраздельно, и я часто думаю, что если во мне есть что-то доброе и толковое, то все потому, что ты была первой, кого научились узнавать мои глаза, кто любил меня, умно и заботливо пестовал. А теперь, добрая моя душа, ты хочешь отдать мне свои сбережения? Как ты по-матерински нежна ко мне, как прекрасен и великодушен муж твой, которого я не знаю. От всего сердца благодарю вас, славные мои друзья, только я ни в чем не нуждаюсь. Живу в полном достатке, хорошо и счастливо, насколько возможно в разлуке с милыми домочадцами.

Тем не менее я не теряю надежды с вами повидаться. Ты пишешь о чистой комнатке и о красивом диком крае, и мне уже до смерти хочется побывать в твоей деревне и посмотреть на твое хозяйство. Правда, не знаю, найдутся ли у меня свободные две недели, но не сомневайся, что при малейшей возможности я проведу их у моей любимой кормилицы, которую обнимаю от всего сердца».

Пока Каролина предавалась этим сердечным излияниям, герцог Гаэтан д'Алериа, облачившись в чудесный турецкий халат, беседовал с братом, который посетил в этот ранний час его особняк на Рю-де-ла-Пэ. Они говорили о делах, и между братьями возник довольно горячий спор.

– Нет, друг мой, – запальчиво возражал герцог, – на сей раз я не сдамся, не позволю вам подписать бумаги и не дам заплатить мои долги.

– Я заплачу их, – решительно отвечал маркиз. – Это необходимо, и это моя обязанность. Честно говоря, я поначалу колебался, так как не знал суммы, но моя нерешительность не должна покоробить ваших чувств. Я боялся, как бы взятые обязательства не превысили моих возможностей, но теперь уже знаю, что на оставшиеся деньги сумею обеспечить благополучие нашей матушки. Отныне ничто не помешает мне спасти семейную честь, и вы не имеете права этому противиться.

– Нет, этого я не допущу. Вы не обязаны приносить мне такую жертву. Мы носим разные имена.

– Но рождены одной матерью, и я не хочу, чтобы она, увидев вас несостоятельным должником, умерла от стыда и горя.

– Подобный позор для меня еще страшнее, чем для нашей матушки. Я женюсь.

– На деньгах? Вы прекрасно знаете, что для матушки, для меня и для вас тоже это будет горьким испытанием.

– Тогда я подыщу себе должность.

– Это еще хуже.

– Но страшнее вашего разорения ничего и придумать нельзя.

– Вы меня не разорите.

– Могу я хотя бы знать сумму?

– Совершенно ни к чему. Я вполне удовлетворен вашим словом, что у вас сейчас нет долгов, неизвестных нотариусу, который ведает делами. Я просил вас только проглядеть некоторые бумаги, чтобы удостовериться, не вкралась ли в них ненароком ошибка. Вы подтвердили их законность. Этого достаточно, остальное вас не касается.

Герцог гневно скомкал бумаги и зашагал большими шагами по комнате, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние. Потом он закурил сигару, отложил ее в сторону и, сильно побледнев, бросился в кресло. Маркиз понимал, как была уязвлена его гордыня, а может быть, и совесть.

– Успокойтесь, – сказал он. – Я сочувствую вашему горю, но полагаю, что оно послужит вам добрым уроком на будущее. Не думайте об услуге, которую я оказываю скорее матушке, чем вам, но помните, что отныне остаток состояния принадлежит ей. Думайте о том, что нам, может, посчастливится продлить ее жизнь на долгие годы и что нельзя ей причинять страдания. Прощайте. Встретимся через час, чтобы уладить все мелочи.

– Да, да, оставьте меня сейчас одного, – сказал герцог. – Вы сами видите – я не в силах продолжать разговор.

Едва маркиз удалился, как герцог вызвал лакея, велел никого не принимать и в глубоком волнении принялся шагать из угла в угол. В этот час он пережил неотвратимый и мучительный перелом. Он не раз попадал в беду, но никогда еще так остро не ощущал своей вины и так в ней не раскаивался.

Прежде он действительно проматывал свое состояние жадно и беспечно, так как знал, что губит одного себя. Герцог, так сказать, злоупотреблял наследным правом. Потом, не вполне ведая, что творит, он принялся и за материнские деньги, прокутил их и уже даже не терзался унизительной мыслью о том, что обязанность поддерживать мать целиком возложена им на плечи маркиза. Заметим, что герцогские безумства были отчасти извинительны. Он был непростительно избалован. Мать всегда выказывала ему явное предпочтение, да и природа явно благоволила герцогу: он был выше ростом, намного красивее, сильнее, представительней и, вероятно, жизнеспособней брата; ласковый и общительный, он с детства казался всем гораздо одареннее и приятнее маркиза.

Тот же, болезненный и замкнутый с колыбели, отличался только пристрастием к наукам, но то, что составило бы неоспоримое достоинство у простолюдина, выглядело у аристократа странной причудой. Любомудрие в нем подавляли, а не поощряли, и именно поэтому оно превратилось в подлинную страсть, страсть всепоглощающую и предосудительную в чужих глазах, которая породила в его молодой душе тонкую восприимчивость и жажду к учению тем более пылкую, что она таилась под спудом. Маркиз намного превосходил брата сердечной теплотой, но слыл человеком холодным, а герцога, который не любил никого, но всегда был учтив и общителен, почитали пламенной натурой.

Этот бурный и обманчивый темперамент герцог унаследовал от отца, а его живость в юности тревожила маркизу. Читателю известно, что после смерти второго мужа она пребывала в полубезумном состоянии и боялась приближаться к своим детям. Но как только материнские чувства возобладали над душевным расстройством, маркиза сразу заключила в объятия сына возлюбленного супруга. Мальчик, удивленный и даже напуганный порывистыми ласками, от которых успел отвыкнуть, принялся плакать, сам не зная почему. Эти его слезы явились, вероятно, смутным и бессознательным укором ребенка, брошенного на произвол судьбы. Герцог, будучи старше брата на три года и по природе менее вдумчивый, ничего не заметил. Он охотно отвечал поцелуями на поцелуи матери, и бедная женщина решила, что это чадо и унаследовало ее сердце, тогда как маркиз пошел в деда с отцовской стороны, старого ученого-маньяка. Словом, она втайне стала предпочитать герцога, но, обладая добрым запасом христианской справедливости, особенно его не баловала, зато чаще ласкала, думая, что только он может оценить эти знаки материнской любви.

Урбен (маркиз) чувствовал это предпочтение и мучился, хотя никогда не жаловался. В душе он, возможно, уже осуждал поведение брата, но не желал оспаривать первенство по столь несерьезному поводу.

Со временем маркиза поняла свою ошибку, поняла, что о чувствах судят не по словам, а по поступкам; однако привычка во всем потакать своему блудному чаду укоренилась, а к ней скоро прибавилась материнская жалость к беспечному повесе, который благодаря своим безумствам шел к неминуемой катастрофе. Но не развращенность души была причиной герцогских безумств. Поначалу тщеславие, потом опьянение молодостью, наконец торжество безволия и тирания порока – вот в нескольких словах история этого человека, любезного, но не утонченного, доброго, но не великодушного, скептика, но не безбожника. В описываемую нами пору вместо совести в его душе зияла пустота, однако совесть его не умерла – она просто отсутствовала. Он еще терзался раскаянием и угрызениями, боролся с собой, но они быстро исчезали и возвращались реже, чем в юности, зато острота их, пожалуй, все возрастала, и на сей раз внутренний разлад был так мучителен, что герцог не раз хватался за пистолет, словно его подталкивал призрак самоубийства. Но, вспомнив о матери, он отбросил оружие прочь, запер его и схватился за голову, охваченный страхом, что вот сейчас сойдет с ума.

Деньги он презирал всегда, а материнская теория благородного бескорыстия лишь ускорила его скольжение по наклонной плоскости софизмов. Тем не менее он понимал, что, разорив мать, злоупотребил своими правами, но постарался забыть об этом, дав себе слово не запускать руку в наследство брата, и все-таки промотал его значительную часть. Правда, действовал он как-то бессознательно, а маркиз из деликатности не входил с ним в мелочные расчеты и никогда не заговорил бы с герцогом об этом, если бы не считал необходимым воззвать к его чести ради сохранения того, что еще не было растрачено. Герцог, не чувствуя себя виновным в предумышленном эгоизме, с полной искренностью осыпал Урбена градом упреков за то, что тот не предупредил его раньше. Он наконец увидел, какая пропасть разверзлась перед ним из-за его мотовства и беспечности. Герцог был смертельно унижен тем, что поставил под угрозу будущее Урбена и что теперь принужден исправлять свои ошибки, поступаясь строгими принципами, внушенными ему матерью и воспитанием.

Однако этот его проступок был меньшим преступлением, нежели разорение маркизы. Герцог же смотрел на это иначе. Ему всегда казалось, что материнские деньги в равной мере принадлежат и ему, тогда как в расчетах с братом самолюбие подсказывало ему понятия «твое» и «мое». Да оно и понятно. Братья, столь различные меж собой, не питали друг к другу постыдной неприязни, но и не чувствовали особого доверия и расположения. Жизнь одного как бы постоянно перечеркивала жизнь другого, и Урбену стоило больших душевных усилий, чтобы голос крови заговорил в нем голосом дружбы. Гаэтан и не помышлял о подобной близости. Полностью полагаясь на свою пресловутую незлобивость, он позволял себе насмехаться над

строгими нравами маркиза. Поэтому большую часть времени они обходились друг с другом так: один деликатно сдерживал свое осуждение, другой непринужденно отпускал шпильки.

– Стало быть, дела улажены? – воскликнул герцог, завидя входящего маркиза. – По вашему лицу вижу, что бумаги подписаны.

– Да, друг мой, – отвечал Урбен, – все улажено. Вам остается двенадцать тысяч ливров ренты, которые я не позволил включить в погашение.

– Мне остается? – спросил Гаэтан, глядя маркизу прямо в глаза. – Не нужно меня обманывать. У меня нет ни гроша, а вы, уплатив мои долги, назначили мне теперь пенсию.

– Хорошо, допустим, – ответил маркиз. – Надо же вам когда-нибудь узнать, что вы не вольны распоряжаться капиталом.

Герцог, не зная, что предпринять, так стиснул руки, что хрустнули пальцы, и погрузился в молчание. Маркиз, с трудом преодолевая привычную сдержанность, сел подле Гаэтана и, коснувшись его сжатых рук, как бы противившихся этому прикосновению, сказал:

– Друг мой, вы чересчур высокомерны со мной. Неужели, оказавшись на моем месте, вы поступили бы иначе по отношению ко мне?

Герцог почувствовал, что сердце его дрогнуло, и разразился слезами.

– Нет, – воскликнул он, крепко сжимая руки маркиза, – я не сумел бы да и не посмел бы так поступить, потому что мой удел – причинять зло, а спасать чужие жизни – это счастье не для меня.

– Но вы хотя бы понимаете, что это счастье, – продолжал Урбен. – Отныне считайте меня своим должником и верните мне дружбу, которая гибнет от вашей уязвленной гордости.

– Урбен! – сказал герцог. – И ты еще говоришь о моей дружбе? Сейчас самое время мне рассыпаться перед тобой в благодарностях, но я этого не сделаю. Я никогда не надену лицемерной маски, никогда не паду так низко. Знаешь ли ты, брат, что я всегда тебя недолюбливал?

– Да, знаю и объясняю это различием наших вкусов и душевного склада. Но разве не пробил час нам полюбить друг друга?

– Но этот час ужасен! В этот час ты торжествуешь, а я унижен. Скажи мне, что, не будь матушки, ты бросил бы меня на произвол судьбы! Да, ты должен мне сказать честно, и тогда я прощу тебе твой поступок.

– Разве я тебе об этом не говорил?

– Скажи еще раз… Ты колеблешься? Стало быть, это вопрос чести.

– Да, если угодно, вопрос чести.

– И ты не требуешь теперь от меня большей любви, чем я питал к тебе прежде?

– Я знаю, что такова моя участь, – грустно отозвался маркиз. – Я не рожден быть любимым.

Эти слова окончательно покорили герцога, и он бросился в объятия маркиза.

– О, прости меня! – воскликнул Гаэтан. – Ты лучше меня. Я уважаю тебя, восхищаюсь тобой, почти благоговею. Теперь я знаю, что ты мой лучший друг. Господи, что мне для тебя сделать? Может, ты любишь женщину и нужно убить ее мужа? Или хочешь, я поеду в Китай за редким манускриптом в какую-нибудь пагоду, рискуя попасть в колодки или подвергнуться другому, столь же приятному испытанию?

– Ты, Гаэтан, только и думаешь, как со мной расквитаться. Люби меня чуть больше и считай, что заплатил за все сторицей.

– Я люблю тебя от всего сердца, – отвечал герцог, обнимая брата. – Ты видишь, я плачу как ребенок, но и ты уважай меня хоть немного. Я стану лучше, ведь я еще молод, черт возьми. В тридцать шесть лет еще не все потеряно. Правда, я уже порастратил себя, но я остепенюсь… Тем более что ничего другого мне не остается. Все еще сложится прекрасно. Я поправлю здоровье, помолодею. Летом поеду с тобой и матушкой в деревню, буду рассказывать забавные

истории, стану смешить вас… Ты только помоги мне в этих планах, поддержи, не оставь, утешь! Ведь я зашел в тупик, и мне сейчас очень плохо.

Маркиз сразу же заметил исчезновение пистолета, который еще час назад лежал на столе, но не подал вида. По лицу брата он, впрочем, понял, какой мучительный душевный перелом в нем только что произошел. Он знал, что силе духа Гаэтана положены известные пределы.

– Одевайся, – сказал ему маркиз, – поедем завтракать. Поболтаем, потешим себя химерами. Может быть, я и докажу тебе, что иногда человек богатеет в тот день, когда утрачивает все.

V

Маркиз повез брата в Булонский лес, который в ту пору еще не был великолепным английским садом, а всего лишь прелестной рощей, тенистой и укромной. Стояли первые апрельские дни. Погода была превосходная, на полянах синим ковром распускались фиалки, и стайки непоседливых синиц щебетали, кружа у распустившихся почек, а бабочки-лимонницы, эти вестницы весенних погожих дней, робко порхали, словно трепетали на ветру едва появившиеся, еще желтоватые листочки.

Обычно маркиз завтракал дома, но, говоря по правде, он не умел есть в гастрономическом смысле этого слова. Он заказывал нехитрое кушанье, которое поспешно проглатывал, не отрывая глаз от книги, лежащей возле тарелки. Привычная воздержанность маркиза полностью отвечала его строгой бережливости: ведь он не позволял себе никаких лакомств, дабы на материнском столе не переводились изысканные блюда.

Желая скрыть это от брата и боясь огорчить его скромностью своего жилища, он пригласил герцога в ресторан и заказал прекрасный завтрак, утешая себя тем, что купит на несколько книг меньше, а при случае, подобно бедняку-ученому, прибегнет к услугам общественных библиотек. Эти мелкие жертвы не удручали и не пугали маркиза; он даже не думал о слабом своем здоровье, которое требовало житейского комфорта. Маркиз был счастлив тем, что между ним и братом лед уже сломан и что отныне можно рассчитывать на привязанность и доверие Гаэтана. Бледный, усталый и озабоченный герцог постепенно приходил в себя, наслаждаясь весенним воздухом, который свободно проникал в открытое окно. Завтрак поддержал его силы: герцог был натурой здоровой, неспособной к воздержанию, – недаром его мать, любившая при случае упомянуть о своем родстве с бывшим царствующим домом, не без гордости говорила, что герцог унаследовал прекрасный аппетит от Бурбонов.

Через час герцог уже непринужденно болтал со своим братом и первый раз в жизни был с ним таким любезным и беспечным, каким его знали в свете. Вероятно, между братьями и раньше возникало робкое взаимопонимание, но они никогда не давали ему хода и, уж конечно, не разговаривали откровенно. Маркиз замыкался в себе из скромности, герцог – из равнодушия. Однако на сей раз герцогу и вправду захотелось узнать человека, который спас его честь и обеспечил будущее. Поэтому он расспрашивал брата с тем участием, которое раньше за ним не водилось.

– Объясни, отчего ты счастлив, – спрашивал герцог. – А ведь ты действительно счастлив. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы ты жаловался.

Ответ маркиза сильно удивил герцога.

– Во мне есть душевные силы только потому, что я предан матушке и люблю науку, – сказал Урбен, – а счастья я никогда не звал и не узнаю. Наверное, мне следовало бы об этом умолчать, так как я хочу тебе привить вкус к тихой и уединенной жизни. Кривить душой в нашей беседе кажется мне преступным, да я и не стану изображать ходячую добродетель, хоть ты меня в этом и упрекал.

– Да, правда. Я признаю, что ошибался. Но отчего ты несчастен, друг мой? Ты мне можешь это сказать?

– Сказать не могу, но довериться хочу. Я любил одну женщину.

– Ты? Любил? Когда же?

– Давно, и любил ее долго.

– Ты больше ее не любишь?

– Ее нет в живых.

– Она была замужем?

– Да, супруг ее здравствует и по сей день. Позволь мне не называть ее имени.

– Оно не суть важно, но… ведь твое горе со временем пройдет?

– Не знаю. Покамест не проходит.

– И давно она умерла?

– Три года назад.

– Она тебя очень любила?

– Нет.

– Как нет?

– Она любила меня так, как любит женщина, которая не может и не хочет порывать со своим мужем.

– Разве это причина? Такие преграды лишь разжигают страсть.

– И убивают ее. Эта женщина устала лгать и угрызаться, но не порывала со мной, так как боялась огорчить меня. Я был постыдно малодушен, и она умерла от горя и… по моей вине.

– Полно! Зачем ты мучаешь себя этими бреднями?

– Это не бредни. Горе мое безысходно, а ошибка непростительна. Рассуди сам: в порыве страсти, когда вопреки Богу и людям хочешь навеки слиться с любимым существом, я сделал ее матерью. Она подарила мне сына, которого я спас, укрыл, и он жив по сей день. А она, желая избегнуть подозрений, появилась в свете сразу же после родов. В тот вечер она была весела и прекрасна, вела беседы, оживленно сновала меж гостей, хотя ее сжигала горячка. А через сутки она умерла. Так никто ничего и не узнал. Она слыла женщиной самых строгих правил…

– Я знаю, о ком ты говоришь. Это госпожа де Ж***.

– Да, ты один знаешь эту тайну.

– И я ее сохраню. А матушка не догадывается об этом?

– Она ни о чем не подозревает.

Герцог некоторое время молчал, потом со вздохом заметил:

– Бедный мой друг! Твой мальчик жив, и ты его, верно, очень любишь…

– Конечно!

– А я разорил и его!

– Пустяки! Лишь бы хватило средств его выучить, сделать человеком, а большего я и не смею желать. Я никогда не смогу признать его своим сыном и в течение нескольких лет не хочу приближать к себе. Он родился очень слабенький, и я его отдал в деревню на воспитание к крестьянам. Ему надо вырасти и обрести физическую силу, которой недостает мне. Вероятно, поэтому я всегда и ощущаю недостаток душевных сил. К тому же перед смертью госпожи де Ж*** врач ненароком обмолвился, и ее супруг заподозрил, в чем дело. Я еще долго не должен видеться с этим ребенком, ровесником того мрачного события. Теперь ты понимаешь, Гаэтан, могу ли я быть счастливым?

– Эта страсть и помешала твоей женитьбе?

– Я все равно не женился бы, я дал обет.

– Хорошо, об этом мы еще поразмыслим.

– И это ты станешь уговаривать меня жениться?

– Да, я, почему бы и нет? Напрасно ты думаешь, что я презираю брак. В том возрасте, когда я еще мог выбирать, я пренебрегал женитьбой, так как было лень искать супругу. Когда же я разорился, все осложнилось. Моя мать никогда не позволила бы мне жениться на богатой, но незнатной особе, а я, будучи знатным и без гроша, принужден искать только богатую невесту. Ты знаешь, что при всей моей испорченности убеждения нашей матери для меня святыня. Словом, я видел, как быстро падают мои шансы, и сейчас, вздумай какая-нибудь девица или вдова, богатая или родовитая, выйти за меня замуж, я составлю о ней самое нелестное мнение. Я буду абсолютно убежден, что к браку с таким негодяем, как я, ее склоняют неблаговидные и темные причины. У тебя же, Урбен, положение совсем другое. По моей вине ты вынужден жить скромно, а может быть, даже бедно. Но твои личные достоинства от этого не страдают, отнюдь. Они вырастают в глазах каждого, кто знает причину твоей бедности. Поэтому вполне вероятно, что молодая, чистая девушка с хорошим приданым проникнется к тебе уважением и любовью. Тебе же стоит только захотеть и показать, каков ты есть на самом деле.

– Нет, я умею показывать себя только с невыгодной стороны. Свет меня парализует, а слава ученого человека приносит больше вреда, чем пользы. Общество не понимает, как это человек, рожденный для светской жизни, упрямо пренебрегает ею. Словом, ты видишь, что искать любви мне просто невозможно. Слишком пусто и тяжело у меня на сердце.

– Но зачем так долго оплакивать женщину, которая не сумела найти счастья в твоей любви?

– Я любил ее, я! Может быть, в ней я любил свою любовь. Увы, я не из тех, кто с каждой новой весной возрождается для жизни. Все у меня в груди перегорело.

– Ты слишком много читаешь и думаешь!

– Вероятно. Поедем, брат, в деревню. Ты ободришь меня, поможешь успокоиться, хочешь? Ты же обещал. Мне действительно нужен друг, а его у меня нет. Эта тайная страсть поглотила меня целиком, и твоя дружба может вернуть мне молодость.

Доверчивая и простодушная откровенность брата глубоко растрогала герцога. От маркиза он ждал нравоучений, советов, утешительных речей, которые дали бы ему почувствовать, как он слаб, а брат – тверд душой. Но вопреки ожиданиям не он, а Урбен просил об участии и поддержке. Действительно ли маркиз нуждался в его дружбе или заговорил о ней, движимый своей редкостной деликатностью, так или иначе герцог был слишком умен, чтобы его воображение не поразила перемена ролей. Он ответил брату искренней симпатией и нежной заботой, и, проведя в Булонском лесу весь день за беседой, братья, наняв фиакр, поехали обедать к матери.

Маркиза уже несколько дней пребывала в сильном волнении. Она боялась, как бы Урбен, узнав о том, как велики герцогские долги, не отказался заплатить их. При всем своем глубочайшем уважении к Урбену госпожа де Вильмер не представляла себе, на что способно его бескорыстие. Так как Урбен не нанес ей утром обычного визита, маркиза серьезно встревожилась. Но, увидев на пороге своих сыновей, она сразу же заметила, каким спокойствием светятся их лица, и догадалась о том, что произошло; потом, не имея возможности расспросить братьев в присутствии засидевшегося гостя, с ужасом решила, что ошиблась и что ни герцог, ни маркиз попросту не знают истинного положения дел.

За обедом, однако, она обратила внимание на то, что сыновья говорят друг другу «ты». Сомнения ее рассеялись, но так как при слугах и Каролине маркиза не желала выказывать своих чувств, то, дабы скрыть радость, она напустила на себя неумеренную веселость, меж тем как крупные слезы счастья текли по ее увядшим щекам. Каролина с маркизом заметили эти слезы. Каролина бросила на Урбена тревожный взгляд, точно спрашивая, что с маркизой – опечалена она или, напротив, чему-то очень рада. Маркиз взглядом унял ее беспокойство, а герцог, подглядев эту немую и мимолетную беседу, лукаво и добродушно улыбнулся. Каролина и маркиз не видели его улыбки: их взаимная симпатия была слишком прямодушна. Каро-

лина по-прежнему презирала герцога и сердилась на него за то, что всем он кажется добрым и привлекательным. Правда, она подозревала, что госпожа де Д*** несколько преувеличила его пороки, но, одержимая невольной и смутной боязнью, старалась не смотреть на герцога, сидящего напротив нее, и силилась забыть его лицо. Когда слуги удалились, беседа за десертом сделалась более непринужденной, и Каролина робко осведомилась у маркизы, не отстают ли часы.

– Нет, еще не время, деточка, – растроганно отозвалась госпожа де Вильмер.

Каролина поняла, что нужно досидеть до конца обеда.

– Итак, друзья мои, – обратилась маркиза к сыновьям, – хорошо ли вы завтракали вдвоем в Булонском лесу?

– Да, как Пилад с Орестом, – ответил герцог. – Вы даже не представляете себе, дорогая матушка, как это было чудесно. К тому же я сделал удивительное открытие: у меня очаровательный брат. Конечно, это слово в применении к нему кажется вам, вероятно, легковесным, но я в него вкладываю самый серьезный смысл. Замечательный ум иногда оборачивается и замечательным сердцем, а мой брат обладает и тем и другим.

Маркиза улыбнулась, потом задумалась, и облако сомнений окутало ее душу. «Жертва Урбена недостаточно тронула Гаэтана, – подумала она. – Слишком легко он свыкся со своим новым положением. Может быть, у него нет гордости? Боже мой, тогда он пропал!»

Урбен заметил мрачную тень на лице матери и поспешил ее рассеять.

– Я не стану утверждать, что мой брат гораздо очаровательнее меня, – с милой беспечностью сказал он маркизе. – Это слишком очевидно. Но я сообщу вам о другом моем открытии: у брата глубокий и проницательный ум, который уважает только то, что истинно. Да, – добавил он, невольно отвечая на изумленный взгляд Каролины, – в нем есть настоящая душевная чистота, скрытая для чужого глаза, которую до сих пор я не ценил по достоинству.

– Дети мои, – сказала маркиза, – я с удовольствием слушаю ваши взаимные дифирамбы. Вы мягко касаетесь самых чувствительных струн материнской гордости, и я убеждена, что вы оба правы.

– Обо мне вы так судите потому, – заметил герцог, – что вы лучшая из матерей. Но вы слепы. Я ничего не стою, и грустная улыбка мадемуазель де Сен-Жене ясно свидетельствует о том, что вы заблуждаетесь точно так же, как и мой брат.

– Разве я улыбалась и вдобавок еще грустно? – изумленно спросила Каролина. – Честное слово, я все время смотрела на этот графин и раздумывала о качествах богемского стекла.

– Не рассчитывайте нас убедить в том, – возразил Гаэтан, – что вы думаете только о хозяйственных делах. Убежден, что ваши мысли витают гораздо выше этого графина и вы свысока судите о людях и о жизни.

– Я не смею никого осуждать, сударь.

– Тем хуже для тех, кто не удостаивается вашего суждения. Как бы оно ни было сурово, люди только выиграли бы, узнав его. Я, к примеру, люблю, когда обо мне судят женщины, и предпочитаю выслушать из их уст чистосердечное неодобрение, чем терпеть молчаливое презрение и недоверие. Я считаю, что только женщины действительно могут оценить наши изъяны и наши достоинства.

– Но, сударыня, – с притворным отчаянием обратилась Каролина к госпоже де Вильмер, – скажите вашему сыну, что я не имею чести близко знать его и живу в этом доме не для того, чтобы мысленно живописать портреты на манер Лабрюйера.

– Милое дитя, – ответила маркиза, – вы здесь на правах моей приемной дочери, которой все дозволено, потому что всем известны ее редкая сдержанность и прелестная скромность. Поэтому отвечайте моему сыну не робея и не сердитесь, если он над вами дружески подшучивает. Он знает вам цену не хуже меня и всегда будет выказывать вам полное уважение, безусловно вами заслуженное.

– На сей раз, матушка, я ваш комплимент принимаю, – с подкупающим чистосердечием отвечал герцог. – Я питаю глубочайшее уважение к любой чистой, великодушной и преданной особе, а стало быть, и к мадемуазель де Сен-Жене.

Каролина не покраснела и не пробормотала слов благодарности, как чопорная компаньонка. Она посмотрела герцогу прямо в глаза и, поняв, что он над ней не насмехается, мягко сказала:

– Отчего же его сиятельство, так высоко меня ставя, полагает, что я смею о нем дурно думать?

– Ах, на то есть причины, – ответил герцог. – Я вам их открою, когда мы познакомимся поближе.

– Вот как! А зачем откладывать? – заметила маркиза. – Сейчас самое время.

– Будь по-вашему, – согласился герцог. – История эта забавная, и я вам ее расскажу. Третьего дня, дорогая матушка, я сидел в вашей гостиной и в одиночестве поджидал вас. Удобно устроившись на козетке, я дремал в уголке – утром я страшно устал, объезжая норовистую лошадь, – и размышлял о приятных свойствах этих стеганых кресел точно так же, как мадемуазель де Сен-Жене раздумывала о достоинствах богемского стекла. И вот что пришло мне в голову: как удивились бы эти диванчики и кресла, попади они на конюшню или в стойло. И как смутились бы наши гостьи, прелестные дамы в атласных платьях, найдя вместо этих мягких козеток соломенные подстилки!

– Но в ваших фантазиях нет ни капли смысла! – смеясь, заметила маркиза.

– Совершенно верно, – подхватил герцог, – это были фантазии слегка пьяного человека.

– Что вы такое говорите, сын мой!

– Ничего худого, дорогая матушка. Я вернулся домой голодный, усталый, умирая от жажды и слегка опьянев от свежего воздуха. Но так как вы знаете, что от воды мне делается дурно, а жажда мучила нестерпимо, я утолил ее и снова опьянел. Вот и все. Вам известно, что в таком состоянии я нахожусь обычно не больше четверти часа и умею нужное время посидеть в укромном уголке. Поэтому, вместо того чтобы пройти в столовую и поцеловать вам за десертом руку, я проскользнул в гостиную.

– Ну, ну, – сказала маркиза, – а теперь ускользните от ваших путаных мыслей и переходите к делу.

– Я уже к нему перешел, как вы сейчас увидите, – ответил герцог.

Поскольку, прежде чем приступить к рассказу, герцог проглотил слюну, Каролина поняла, что он находится в том состоянии, которое только что описывал, и что, быть может, теперешней своей говорливостью он до некоторой степени был обязан выдержанным винам маркизы. Но герцог быстро привел свои мысли в порядок и непринужденно заговорил:

– Говоря по правде, я размечтался, но ясного ума не терял. Напротив, перед глазами прошла вереница чудесных видений. С соломенной подстилки, разостланной на паркете моим воображением, поднялись причудливые существа. Это были только женщины: одни словно нарядились на старинный придворный бал, другие – на фламандскую кермессу[3]. Дамы цеплялись фижмами и кружевами за свежую солому, которая стесняла их движения и царапала прелестные ножки; гостьи же попроще, в коротких юбках и грубых сабо, резво ее топтали и, хохоча во все горло, потешались над светскими щеголихами. Здесь царил настоящий праздник плоти, совсем как на рубенсовских полотнах. Толстые руки, румяные щеки, могучие плечи, внушительные носы на лоснящихся лицах, живые глаза и пышные прелести, пухлые, как ваши кресла, матушка, которые и пережили волшебное преображение. Иначе непонятно, с чего эти женщины мне примерещились.

Прекрасные толстухи безудержно веселились и скакали, да так грузно, что звенели хрустальные подвески на канделябрах. Толстухи падали на солому, а потом поднимались с трухой в огненно-рыжих волосах. Меж тем знатные кокетки выделывали фигуры чинного танца, но

то и дело останавливались: соломинки набивались им в оборки, румяна от жары расплывались по лицу, пудра осыпалась с плеч, обнажая их худобу и угловатость. В выразительных женских глазах застыла смертельная тоска. Они, очевидно, боялись, как бы солнечный свет не подчеркнул заемность их прелестей, и гневались на то, что жизнь торжествует над ними.

– Сын мой, – заметила маркиза, – к чему вы ведете и что все это значит? Зачем вы сочиняете панегирик простолюдинкам?

– Я не сочиняю, а рассказываю сущую правду, – ответил герцог. – Эти видения всецело заняли меня, и, право, не знаю, что бы мне еще пришло на ум, если бы рядом со мной не зазвучал женский голос, напевавший…

Гаэтан очень приятно пропел бесхитростные слова деревенской песенки, ни разу не сфальшивя, и Каролина рассмеялась, вспомнив, как она, не заметив герцога в гостиной, напевала этот знакомый с детства мотив.

– Я тотчас же очнулся, – продолжал герцог, – а видения мои пропали. С паркета исчезла солома, толстые кресла на гнутых ножках больше не казались скотницами в сабо, а стройные канделябры на пузатых подставках – худосочными дамами в фижмах. Я сидел один в ярко освещенной гостиной и чувствовал себя превосходно. Однако сельская песенка явственно доносилась до меня. Ее пели совсем по-деревенски, просто, прелестно и так свежо, что я вряд ли сумел это воспроизвести. «Подумать только, – мысленно воскликнул я, – крестьянка! Крестьянка в гостиной моей матери!» Затаив дыхание, я замер в уголке, и эта поселянка предстала передо мной. Дважды она прошла мимо быстрым шагом, не заметив меня, хотя почти касалась моих колен серебристым шелковым платьем.

– Вот оно что! – сказала маркиза. – Это была Каролина.

– Это была незнакомка, – продолжал герцог, – и, согласитесь, крестьянка довольно странная, поскольку одета она была не хуже дамы из общества. Золотистые волосы пушистой короной венчали голову, плечи и руки были скрыты одеждой, но я приметил белоснежную шею, маленькие кисти и ножки, не обутые в сабо.

Каролине было не очень приятно слушать, как завзятый ловелас описывает ее персону, и она посмотрела на маркиза, словно собиралась что-то ему сказать. Ее поразило, что лицо маркиза слегка омрачилось и что он, нахмурившись, отвел глаза в сторону.

– Этот прелестный призрак, – продолжал герцог, перехвативший их взгляды, – пленил меня тем более, что сочетал в себе все достоинства моих исчезнувших чаровниц – и знатных дам, и простолюдинок. Иначе говоря, в ней было все самое прекрасное: благородство линий и свежесть красок, изящество очертаний и несокрушимое здоровье. Она была королевой и пастушкой в одном лице.

– Портрет ее вы не приукрасили, – заметила маркиза, – однако в нем недостает легкости кисти. Ах, сын мой, вы, вероятно, все еще слегка… возбуждены?

– Вы велели мне рассказать эту историю, – ответил герцог, – но если я заболтался, велите мне замолчать.

– Нет, – горячо возразила Каролина, которая обратила внимание на то, каким недоверчивым и холодным стало лицо маркиза, и потому не хотела утаивать подробности первой встречи с герцогом. – Я не узнаю оригинала и жду, когда герцог заставит его произнести несколько фраз.

– Память у меня хорошая, и расскажу я чистую правду, – продолжал герцог. – Проникшись внезапно большой симпатией к этой поселяночке, я завел с ней разговор. Ее голос, взгляды, ясные, прямые ответы, приветливый вид, чистота и сердечность настолько покорили меня, что через пять минут я выразил ей свое глубочайшее уважение, точно знал ее всю жизнь, и пожелал заручиться ее уважением ко мне, точно она была мне родная сестра. На сей раз мадемуазель де Сен-Жене не заподозрит меня в лукавстве?

– Ваши подлинные чувства мне неизвестны, сударь, – ответила Каролина, – но вы были со мной необычайно учтивы, и я даже не заподозрила, что эти любезности вы расточаете под влиянием вина. Я была вам от души благодарна за доброе расположение, но теперь вижу свою ошибку, так как в ваших словах было больше иронии, чем правды.

– Из чего это следует, позвольте узнать?

– Из ваших чрезмерных похвал, рассчитанных, очевидно, на мое тщеславие, но я не поддамся на них, сударь, а вы были бы воистину великодушны, если оставили бы в покое такое безобидное и ничтожное существо, как я.

– Вот тебе раз! – воскликнул герцог, обращаясь к брату, который, казалось, размышлял о чем-то другом и все же невольно прислушивался к разговору. – Она в чем-то упорно подозревает меня и считает мое уважение оскорбительным. Маркиз, не наговорил ли ты ей гадостей про меня?

– У меня нет такой привычки, – чистосердечно ответил маркиз.

– Тогда я знаю, кто опорочил меня в глазах мадемуазель де Сен-Жене! – продолжал герцог. – Это старая дама с седыми буклями сиреневого оттенка и такими худыми руками, что по утрам ее кольца ищут в мусоре. Прошлым вечером она четверть часа разговаривала обо мне с мадемуазель де Сен-Жене, и после этого я тщетно пытался встретить ее добрый взгляд, от которого помолодело мое сердце; он уже был не тот, как, впрочем, не тот он и сейчас. Да, маркиз, плохи мои дела. Но ты что-то отмалчиваешься? Сам только что расхваливал меня на все лады, а мадемуазель де Сен-Жене, кажется, тебе доверяет. Почему бы тебе не замолвить за меня словечко?

– Дети мои, – вмешалась маркиза, – этот спор вы закончите в другой раз, а мне пора одеваться и поговорить с вами до прихода гостей. По-моему, часы немного отстают…

– Мне кажется, они сильно отстают, – подымаясь, сказала Каролина и, пока герцог с маркизом провожали госпожу де Вильмер в ее спальню, торопливо прошла в гостиную. Она думала, что там уже сидят гости, поскольку обед изрядно затянулся, но в гостиной было пусто, и, вместо того чтобы весело обежать ее, Каролина, задумавшись, присела у камина.

VI

Каролине начинало казаться унизительным ее положение в доме маркизы. Она старалась не думать о том, что выполняет обязанности служанки, но не могла выбросить эти мысли из головы. Каролину оскорбляли настойчивые и, может быть, притворные ухаживания герцога д'Алериа, и вместе с тем она была вынуждена скрывать свое негодование и презрение.

«В скромном доме моей сестры, – размышляла она, – я не потерпела бы ухаживаний этого господина и разом пресекла бы их. Он счел бы меня жеманницей, но мне было бы все равно. Его выставили бы за дверь, и дело с концом, а здесь я должна быть веселой и любезной, точно светская дама, должна ко всему относиться бездумно и смотреть сквозь пальцы на ухаживания распутника. Очевидно, мне следует усвоить уловки женщин, привыкших лицемерить. Если же я стану ему дерзить, а это вполне в моем нраве, герцог, рассердившись, в отместку наклевещет на меня, и тогда мне дадут расчет. Дадут расчет! Да, здесь можно ожидать любых козней и оказаться в положении рассчитанной горничной. Вот какие опасности и какие унижения грозят мне на каждом шагу. И зачем только я пошла к маркизе! Госпожа д'Арглад даже не заикнулась о герцоге, и я сочла возможным невозможное».

Каролина была решительного нрава. Стоило ей подумать об уходе от маркизы, как она принялась размышлять о способах заработать на жизнь Камилле и ее детям. Госпожа де Вильмер заплатила ей жалованье вперед, и теперь, если герцог своими ухаживаниями помешает ей скопить небольшую сумму, посланную сестре, придется где-то найти средства, чтобы погасить долг маркизе. И тут Каролина вспомнила о нескольких сотнях франков, предложенных

ей кормилицей, письмо которой с раннего утра лежало в ее кармане. Она перечитала это простодушное и материнское послание и, подумав о том, как благодетельно и высоконравственно подаяние бедняка, вконец растрогалась и заплакала.

Маркиз, войдя в гостиную, застал ее в слезах. Каролина сложила письмо и спокойно спрятала его в карман, не стараясь притворной веселостью скрыть волнение. Она, однако, заметила, что обычно благожелательное лицо маркиза выражало некоторую насмешливость. Каролина подняла на него глаза, как бы спрашивая, кого он собирается высмеять, и маркиз, смешавшись, пробормотал что-то невнятное и кончил тем, что прямо спросил:

– Вы плакали?

– Да, – ответила она, – по не от горя.

– Вы получили приятное известие?

– Нет, доказательство дружбы.

– Вы, вероятно, их часто получаете!

– Не всегда они действительно искренни.

– Сегодня вы, кажется, все ставите под сомнение. Я вас такой не видел.

– Да, не видели. От природы я человек доверчивый. А вы, сударь?

Урбен робел, когда его спрашивали в упор. Ему и спрашивать было нелегко, а когда за его вопросом следовал встречный вопрос, маркиз совсем терялся.

– Сам не знаю… – слегка помедлив, ответил он. – Не могу сказать вам, какой я… особенно сейчас.

– Вы, кажется, заняты какими-то своими мыслями, – заметила Каролина. – Тогда не трудитесь отвечать мне, сударь.

– Простите, я хочу… мне необходимо поговорить с вами, но дело такое щекотливое, что не знаю, как и начать.

– Ах, так? Вы меня немного пугаете… И тем не менее мне было бы интересно узнать, о чем вы в эту минуту думаете.

– Хорошо, вы правы… Я не стану терять времени, сейчас наедут гости. Надеюсь, мне не придется говорить много, и вы поймете меня с полуслова. Я люблю своего брата, а сегодня люблю его особенно нежно. Я убежден, что человек он искренний, только с чересчур живым воображением. Да вы и сами недавно это заметили. Словом… если он слишком настойчиво пытался рассеять вашу неприязнь к нему, быть может, мнимую и не вполне им заслуженную, я советую вам поговорить об этом с матушкой, и только с ней одной. Не сочтите странным и нескромным то, что я осмеливаюсь давать вам советы, но мне просто необходимо видеть матушку счастливой, и я знаю, как много вы делаете для ее счастья. Делить досуг с такой умной и достойной особой, как вы, ей совершенно необходимо, и заменить вас, вероятно, уже невозможно. Если и вы будете здесь спокойны и счастливы, для меня это явится залогом того, что ваша привязанность к матушке с годами не ослабеет. Вот и все, что меня заботит.

– Благодарю вас, сударь, за эти слова, – ответила Каролина. – Я, признаться, была уверена, что когда-нибудь вы и меня почтите своим благородным прямодушием.

– Прямодушием? Я просто хотел сказать вам, что у моего брата веселый и любезный нрав и что если его веселость будет вам в тягость, то матушка, которая умеет сдерживать его и не в пример мне имеет над ним власть, сможет успокоить вас и обуздать излишнюю непринужденность его речей.

– Да, мы с вами понимаем друг друга, – сказала Каролина, – и не сходимся только в том, как избавиться от… неумеренной любезности его сиятельства герцога. Вы полагаете, что ваша матушка сумеет оградить меня от нее, я же думаю, что никто не может и не должен омрачать жалобами отношения любимого сына и нежной матери. К тому же есть судьи, перед которыми всегда останешься в виноватых. Я только что размышляла о своем положении и решила, что, как ни грустно, все же может настать минута, когда я буду принуждена…

– Нас оставить… оставить матушку? – воскликнул с неподдельным чувством маркиз, но тотчас совладал с собой. – Этого я как раз и боялся. Я очень огорчен тем, что вы подумали об отъезде, но надеюсь, что подумали о нем сгоряча. Остерегайтесь несправедливых поступков. Сегодня брат мой был сильно взволнован. Из-за особых обстоятельств и из-за семейных дел он утром очень растрогался, потерял равновесие, поэтому за обедом был так счастлив, доброжелателен и откровенен. Когда вы его узнаете получше…

Но тут раздался звонок, и маркиз вздрогнул. Приехали завсегдатаи этого дома, и господин де Вильмер вынужден был прервать свои увещевания.

– Но ради бога, ради моей матери, – поспешно заключил он, – не торопитесь с вашим решением, которое опечалит и омрачит ее душу. Если б я мог, если б имел на это право, я умолял бы вас ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной…

– Уважение, которое я питаю к вам, сударь, дает вам право быть моим советчиком, и я, безусловно, обещаю прислушаться к вашим словам.

В залу уже входили гости, и маркиз не поспел поблагодарить Каролину, но взгляд его был необычайно красноречив, и она прочитала в нем те доверие и сердечность, которые в начале беседы, казалось, пропали. Глаза маркиза отличались той редкостной выразительностью, какая бывает только у душ возвышенных, пылких и чистых. В них отражалось то, что из-за робости он не смел выразить словами. Каролина поняла это и совершенно успокоилась: ей был внятен язык этих ясных глаз, и она часто вопрошала их, как судью своей совести и своих поступков.

Она благоговела перед этим человеком, нрав которого ценили все, но далеко не все понимали, как глубок его ум и как утонченна душа. Тем не менее, несмотря на удовольствие, испытанное ею от беседы с маркизом, Каролина сразу же стала докапываться до ее скрытого смысла. Мысль ее работала быстро. Проходя по зале и встречая гостей со сдержанной любезностью и приличествующей скромностью, которую легко усвоила, Каролина недоумевала, отчего в разговоре маркиз был так непоследователен. Поначалу он словно хотел упрекнуть ее за то, что она поверила льстивым речам герцога, потом дружески намекнул на мимолетность его ухаживаний и, наконец, когда она сказала, что ей они крайне неприятны, сам же поспешил рассеять ее опасения. Она впервые видела маркиза растерянным: хотя он часто высказывался несмело, убеждения его всегда были тверды. «Очевидно, – размышляла Каролина, – он, с одной стороны, считает мое поведение неосторожным и знает, что герцог может им легко воспользоваться. С другой стороны, маркиза, видимо, больше нуждается во мне, чем я предполагала. Во всяком случае, тут что-то не вполне ясно, но со временем, вероятно, маркиз мне все объяснит. Как бы то ни было, я совершенно свободна, и эти пятьсот франков не удержат меня и часа в унизительном положении. А с письмом Жюстине я повременю».

Как видит читатель, честная и прямодушная мадемуазель де Сен-Жене даже не предполагала, что в недомолвках маркиза могли скрываться сердечное чувство к ней или бессознательная ревность. Да и смог ли бы сам маркиз на поставленный вопрос ответить с такой же уверенностью: «Я просто глубоко уважаю вас и забочусь о матушке»?

Пока Каролина раздумывала об этом, маркиз с тягостным нетерпением и неудовольствием выслушивал излияния герцога. Тот, едва появившись с матерью в гостиной, сразу уселся подле маркиза за фортепьяно и в этом укромном, облюбованном Урбеном уголке с большим жаром зашептал брату на ухо.

– Ну что? – спрашивал он. – Ты только что был с ней наедине. Что ты ей обо мне сказал?

– Откуда в тебе это непонятное любопытство? – в свою очередь спросил маркиз де Вильмер.

– В нем нет ничего непонятного, – возразил герцог, точно уже обо всем рассказал брату. – Я сражен, потрясен, пленен, одним словом – влюбился. Влюбился, понимаешь, клянусь честью, я не шучу. Неужели ты станешь упрекать меня сейчас, когда впервые в жизни я доверяю тебе тайну? Разве утром мы не поклялись в вечной дружбе и доверии? Я тебя спросил, не испыты-

ваешь ли ты сам нежных чувств к мадемуазель де Сен-Жене, и ты проникновенно ответил мне «нет». Что ж тут странного, если я прошу тебя замолвить перед ней за меня словечко?

– Друг мой, – сказал маркиз, – я сделал как раз противное тому, о чем ты просишь: я посоветовал ей не принимать твоих ухаживаний всерьез.

– Каков вероломен! – весело воскликнул герцог, который своей откровенностью словно искупал былое предубежденное отношение к брату. – Так-то ты служишь друзьям! Изволь теперь полагаться на Пилада! Он сразу же подает в отставку, лишает вас надежды, развеевает ваши мечты. Что ж со мной будет без твоей поддержки?

– Я решительно не гожусь для подобных услуг, как видишь.

– Так! Нарушаешь обет при первой трудности? Хорошо. Но я от тебя не отстану. В моем сердце остался только ты, тебе и выслушивать рассказ о моей новой страсти.

– Ты хотя бы поклянись в ее искренности!

– Значит, ты боишься, что я скомпрометирую Каролину?

– Меня это очень огорчило бы.

– Это еще почему?

– Потому что она девушка гордая и, вероятно, недоверчивая. Она сразу же уйдет от матушки, которая так ее любит! Неужели ты не понимаешь?

– Понимаю, потому-то голова у меня и пошла кругом. Она, очевидно, и вправду очень умная и добрая девушка – у нашей матушки ведь поразительное чутье. Она была недовольна тем, что я, по ее мнению, поддразниваю Каролину, пожурила меня сегодня вечером и сказала: «Вы нехорошо ведете себя с ней. Выбросьте ее из головы!» Черт возьми, думать о ней никому не возбраняется, и худо от этого никому не станет. Нет, ты только посмотри, как она хороша! Единственная живая женщина среди этих напомаженных кокеток! Ты погляди на нее при дневном свете: кожа у нее свежая, без того матового оттенка, что скрадывает пушок на щеках и превращает женское лицо в гипсовую маску. Право, она слишком красива для компаньонки! Матушка не сумеет ее долго удержать. Она влюбит в себя кого угодно, а если будет умницей, на ней непременно женятся.

– Поэтому и забудьте о ней думать, – сказал маркиз.

– Вот тебе раз! – удивился герцог. – Разве сам я не бедняк без гроша в кармане или она не из хорошей семьи? Или, может быть, у нее дурная слава? Хотел бы я знать, какие могут быть возражения у матушки. Да она уже зовет ее дочерью и требует к ней уважения, точно она и впрямь наша сестра.

– Ваша восторженность, вернее, ваши шутки переходят всякие границы, – сказал маркиз, пораженный словами брата.

«Так! – подумал герцог. – Он уже говорит мне „вы”».

И с неподражаемой серьезностью он принялся рассуждать о том, что с радостью женится на мадемуазель де Сен-Жене, если нет другого способа овладеть ею.

– Я бы с удовольствием ее похитил, – прибавил герцог. – Это мне весьма с руки. Но теперь это дело безнадежное – даже моя прачка и та мне не доверится. Впрочем, самое время для меня покончить с прошлым. Я тебе обещал и сдержу слово. С сегодняшнего дня я полностью преображаюсь, и ты увидишь нового человека, которого я сам толком не знаю и который еще удивит меня самого. Да, я чувствую, что этот человек способен на все, решительно на все – даже кому-то поверить, кого-то полюбить, на ком-то жениться. На этом, брат, мы сегодня распростимся. Если ты не передашь этот разговор мадемуазель де Сен-Жене, значит, ты не хочешь мне помочь исправиться.

Герцог удалился, оставив маркиза в полном недоумении. Он был сбит с толку и не знал – верить ли в искренность этого минутного увлечения или гневно отвергнуть бесчестную затею, в которую его старались втянуть.

«Нет, – думал он, входя в свою комнату. – Все это у него от шалого нрава, чудачества, легкомыслия… или опять под влиянием винных паров. Однако сегодня утром в Булонском лесу он расспрашивал меня о Каролине с большой настойчивостью, хотя перед этим выслушал рассказ о моем прошлом с истинным участием, можно сказать – со слезами на глазах. Что за странный человек мой братец! Только вчера он хотел покончить с собой, ненавидел меня, презирал самого себя. Потом, казалось, я смягчил его сердце, и он плакал в моих объятиях. Целый день он был такой открытый, доверчивый, нежный, а вечером – не понимаю, что с ним сделалось. Может, беспорядочная жизнь, которую он вел до сих пор, наложила печать на его разум, или брат посмеялся надо мной, а я, глупец, ослепленный жаждой привязанности, поверил ему? Неужели я горько раскаюсь в своем порыве? Или, может быть, я взвалил себе на плечи заботы о душевнобольном?»

Маркиз был в таком смятении и ужасе, что эта мысль не казалась ему столь уже страшной. Теперь его пугало другое: брат задел и разбередил в нем чувство, в котором он не сознавался самому себе и которому не хотел даже дать название. Маркиз принялся за работу, но она не ладилась; лег спать, но сон к нему не шел.

А герцог между тем радостно потирал руки.

– Победа! – ликовал он. – Я нашел, чем одолеть его хандру. Бедный брат мой, я вскружил ему голову, пробудил желания, разбередил ревность. Он, конечно, влюблен в Каролину. Теперь он оправится от недуга и воспрянет духом. Страсть врачуется только страстью. Матушка никогда не нашла бы этого спасительного средства, и даже если в ее доме произойдет скандал, она простит меня в тот день, когда узнает, что угрызения совести и душевное благородство чуть не свели в могилу моего брата.

Герцог, пожалуй, играл наверняка, и его хитроумию мог позавидовать любой мудрец, который, конечно, постарался бы привязать маркиза к жизни любовью к наукам, сыновними чувствами, доводами рассудка и нравственности, словом – всем самым прекрасным и возвышенным. Но больной и сам давно и тщетно призывал их к себе на помощь. Герцог же, смотря на все со своей колокольни, воображал себя спасителем маркиза, даже не предполагая, что такому редкостному человеку, как его брат, лекарство могло навредить больше, чем любой недуг. Зная по себе, что такое человеческая слабость, герцог считал женщин созданиями слабыми и не допускал исключений. Он думал, что Каролина от маркиза без ума, быстро уступит ему, и был далек от мысли, что только брак был залогом победы над девушкой.

«Каролина добрая, – размышлял он, – не тщеславная и бескорыстная. Я понял ее с первого взгляда, да и матушка уверяет, что я не ошибся. Она не станет сопротивляться, потому что в сердце ее живет потребность любить и потому что братом нельзя не увлечься – в нем столько обаяния для женщины истинно духовного склада. А если некоторое время она будет противиться, тем лучше: брат еще сильнее привяжется к ней. Матушка ничего не заметит, а если и заметит, так ей будет чем занять ум и воображение. Она проявит снисходительность, долго будет твердить о благе добродетели, а потом разжалобится. Эти мелкие домашние волнения спасут ее от скуки, которая для матушки страшнее чумы».

Герцог со всем простодушием строил эти планы, в основе которых лежала глубокая безнравственность. Он был полон ребяческого умиления перед собственными замыслами – черта, нередко свойственная распутству и сердечной опустошенности, – и ликовал, рисуя себе, какая красивая жертва будет принесена в угоду его прихоти. Если бы в эту минуту его спросили, о чем он думает, герцог со смехом ответил бы, что в ознаменование целомудренной и благочестивой жизни, которую решил вести, он задумывает любовную историю во вкусе Флориана[4].

Весь вечер он провел в гостиной и, улучив минуту, отвел Каролину в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз.

– Матушка меня выбранила за то, что я держался с вами крайне глупо. Но у меня это получилось невольно – ведь моим единственным желанием было выказать вам свое уважение.

Коротко говоря, матушка запретила мне ухаживать за вами, и я не задумываясь дал честное слово, что исполню ее волю. Теперь, полагаю, вы спокойны?

– А я и не думала беспокоиться.

– И слава богу! Поскольку матушка вынудила меня столь неучтиво сказать в лицо женщине то, о чем обычно молчат, хотя порою и думают, давайте будем друзьями, словно мы оба мужчины, и для начала не станем больше лукавить. Обещайте больше не говорить обо мне дурно моему брату.

– А когда же я говорила о вас дурно?

– Разве вы не жаловались на мою нескромность… сегодня вечером?

– Я сказала, что боюсь ваших насмешек и что, если они повторятся, я уеду отсюда, вот и все.

«Да они спелись! – подумал герцог. – Быстро!»

– Если вы хотите покинуть матушку из-за моей персоны, что ж, значит, вы обрекаете меня на разлуку с ней.

– Зачем такие крайности! Сын не уходит от матери из-за постороннего человека.

– Но если я вам внушаю неприязнь и даже страх, я готов на это – только не уезжайте, и я исполню любое ваше желание. Может быть, я должен не замечать вас, не разговаривать с вами и даже не кланяться?

– Я не хочу никаких крайностей. Вы достаточно умны и опытны, чтобы понять, как я безыскусна в беседе и бессильна отразить ваши словесные атаки.

– Вы чересчур скромны. Однако ж, если вам неугодно, чтобы к моему уважению невольно примешивалось искреннее восхищение вами, а знаки внимания, которые нельзя вам не оказывать, беспокоят вас и тревожат, можете быть уверены, что я сдержу обещание и впредь вам не придется на меня жаловаться. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, – своей матерью!

Исправив свою ошибку и успокоив Каролину, отъезд которой разрушил бы его план, герцог принялся с неподдельным восторгом говорить ей об Урбене. Слова его звучали так искренне, что мадемуазель де Сен-Жене отказалась от своих предубеждений, перестала тревожиться и поспешила написать Камилле, что дела идут хорошо, что герцог, оказавшийся гораздо лучше, чем о нем говорят, даже поклялся честью оставить ее в покое.

В течение месяца, протекшего с этого дня, Каролина почти не встречалась с маркизом де Вильмером. Сначала ему пришлось заниматься денежными делами брата, а потом он уехал из Парижа, сказав матери, что едет в Нормандию, где собирается осмотреть старинный замок, план которого необходим для затеянного им исторического труда. Только герцог знал, что он отправился в противоположную сторону, дабы, сохраняя строжайшее инкогнито, проведать своего сына.

Герцог с головой ушел в дела, связанные с его новым денежным положением. Он продал лошадей, обстановку, рассчитал слуг и из соображений экономии, а также по материнской просьбе поселился во втором этаже ее особняка, тоже предназначавшегося на продажу, но с условием, что в течение десяти лет Урбен будет тут хозяином и апартаменты маркизы останутся неприкосновенными.

Урбен сразу перебрался в третий этаж и перетащил книги в свое скромное жилище, уверяя, что нигде ему лучше не жилось и что вид на Елисейские Поля просто великолепен. Пока он отсутствовал, начались сборы в деревню, и мадемуазель де Сен-Жене написала своей сестре: «Считаю дни, которые остаются до переезда в этот райский уголок, где наконец я вдоволь нагуляюсь и надышусь свежим воздухом. Надоели цветы, которые вянут на наших каминах. Скорей бы увидеть те, что цветут в лугах».

VII

Письмо маркиза де Вильмера герцогу д'Алериа

«Полиньяк, 1 мая 1845,
через Пюи (Верхняя Луара)

Сообщенный тебе адрес – это тайна, которую доверяю брату, и я счастлив, что могу тебе ее доверить. Если со мной случится нежданная беда и я умру вдали от тебя, ты будешь знать, что первым делом нужно приехать сюда и проследить за тем, чтобы моего мальчика не бросили люди, которым поручено его воспитание. Эти люди меня не знают; им неизвестны ни мое имя, ни родина, они даже не предполагают, что Дидье – мой сын. Я тебе уже говорил – такая предосторожность необходима. Господина де Ж*** и по сей день не оставляют подозрения, и он, чего доброго, может усомниться, что его дочь действительно рождена от него. Эти опасения так мучили несчастную мать, что я поклялся скрыть Дидье ото всех до тех пор, пока не решится участь Лауры. Словом, я должен быть крайне осторожен, так как не раз замечал, что кто-то внимательно следит за каждым моим шагом.

Поэтому я укрыл сына далеко от Парижа, где никто меня не знает и где я не рискую случайно столкнуться со знакомыми. Люди, приютившие Дидье, с виду вполне надежные, славные и скромные – во всяком случае, они не задают лишних вопросов и не приглядываются ко мне. Кормилица Дидье – племянница Жозефа, того старого и доброго лакея, который умер у нас в прошлом году. Он мне ее и рекомендовал, хотя ей тоже неизвестно, кто я такой. Она знает меня под именем Бернье. Это молодая, здоровая, добродушная женщина, простая крестьянка, но живущая в сравнительном достатке. Я не давал ей больших денег, опасаясь, что все равно не вытравлю из нее деревенской скаредности, которая тут, по-моему, укоренилась, как нигде; я же стремлюсь к тому, чтобы мой мальчик рос в условиях настоящей деревенской жизни, но не страдал от чрезмерных суровостей этих условий, ибо это может губительно сказаться на его здоровье.

Пишу тебе из дома моих хозяев. Они фермеры и хранители мрачной средневековой крепости, которая стоит на вершине. Эта твердыня – колыбель того семейства, последние отпрыски которого сыграли столь плачевную роль в недавних злоключениях нашей монархии[5]. В этой глуши их предки сыграли не менее важную и жалкую роль в те времена, когда феодалы мало чем отличались от мелких королей. Меня это занимает в связи с тем историческим сочинением, для которого я собираю здешние предания, изучаю крепость и местность. Словом, я не полностью обманул матушку, сказав ей, что отправляюсь в путешествие, чтобы образовать свой ум.

В самом сердце этой прекрасной Франции есть и впрямь много интереснейших мест, куда ездить не модно, – потому-то неприступные уголки этого края до сих пор остаются кладезями неизведанного для ученых и источниками вдохновения для поэтов. Здесь нет дорог, проводников и никаких средств передвижения; здесь все открытия даются ценою риска и усталости. Местные жители знают свою страну не лучше приезжих. Жизнь, целиком посвященная сельским трудам, ограничивает кругозор крестьян пределами одной своей местности, и спрашивать дорогу у них бесполезно, особенно если не знаешь названий и хотя бы приблизительного расположения деревенек. За протекшие со дня рождения Дидье два года я приезжаю сюда в третий раз, но не будь у меня под рукой подробнейшей карты, к которой я обращаюсь поминутно, пришлось бы передвигаться только по прямой, что просто немыслимо, так как мест-

ность изрезана глубокими оврагами, перегорожена во всех направлениях высокими стенами застывшей лавы, изборождена многочисленными горными потоками.

Но чтобы оценить удивительный, ни с чем не сравнимый ландшафт этого края, совсем необязательно забираться вглубь. Ты, друг мой, даже не представляешь себе, как живописен и красив бассейн Пюи, а я не знаю другого места, чье своеобразие так трудно описать. Это не Швейцария, ибо все здесь не так сурово, и не Италия, ибо все здесь куда прекраснее. Это Центральная Франция с ее угасшими Везувиями, одетыми пышной растительностью. И это не знакомые тебе Овернь или Лимузен. Здесь нет богатой Лимани, широко раскинувшейся спокойной равнины, покрытой пашнями и луговинами, замкнутыми на горизонте цепью горных отрогов; здесь нет тучных пастбищ в кольце буераков. Тут одни лишь горные вершины да овраги, и земля возделывается лишь на крутых склонах и в узких теснинах. Но все-таки обрабатывается повсеместно, покрываясь ковром свежей зелени, злаков, бобовых растений, которые жадно тянут соки из плодотворного вулканического пепла и произрастают даже в трещинах между потоками застывшей магмы. Эти потоки резко поворачивают то вправо, то влево, и за каждым поворотом – новые нагромождения, столь же непроходимые, как и те, что остались позади. Но с любой возвышенности эта изрезанная местность видна как на ладони, и глазу открываются ее неоглядные пространства и соразмерные очертания, так что картина эта так прекрасна, что воображению нечего к ней прибавить.

А какой величественный горизонт! Это прежде всего Севенны. В туманной дымке очерчены длинные скаты и крутые обрывы Мезенка, за которым возвышается Жербье де Жон – вулканический конус, похожий на Сорakту, но подошва у него гораздо шире, и производит он большее впечатление. У других гор самые прихотливые формы: одни полуокруглыми очертаниями напоминают вершины Вогез, другие возвышаются отвесными, местами сильно выщербленными стенами, ограничивая небесный свод, огромный, как небо римской Кампании, но нависающий более вместительной чашей, так что все эти вулканы, перепахавшие землю, как бы заключены в один общий кратер сказочной глубины.

То, что расположено под этим куполом, порою вырисовывается с поразительной четкостью во всех своих замечательных подробностях. Сначала выступает вторая, третья, а местами и четвертая горная цепь, и все они разнообразны по формам, и все постепенно понижаются до уровня трех рек, изрезавших то, что можно назвать равниной, хотя по существу это никак не равнина. Вследствие геологических судорог земля тут вся вспучена, искорежена и взрыта. Из-за вулканических извержений недра ее исторгли гигантские образования ныне застывшей магмы; отшлифованные и оголенные водой, они сегодня представляют собой исполинские дайки, которые есть и в Оверни. Но здесь они неизмеримо массивнее и совсем иной формы. Эти красновато-бурые стены и по сей день кажутся раскаленными внутри, а на закате похожи на громадные тлеющие головни. На их плоских, широких, круто обтесанных вершинах, которые по бокам подчас вздуваются наподобие башен и бастионов, жители строили храмы, затем крепости и церкви и, наконец, города и веси. Город Пюи частично расположен на такой дайке – скале Корнель; это одно из самых дельных и гигантских геологических образований, существующих в природе; вершина ее, некогда посвященная галльским, а затем римским божествам, по сей день увенчана развалинами средневековой цитадели, возвышаясь над романскими куполами дивной базилики, выросшей из ее скалистого склона.

Среди столь величественной природы сама базилика кажется сотворенной неким величественным извержением. Черная и мощная, она резко выделяется на туманном фоне неоглядной шири, ибо горизонт здесь очерчен лишь далекой цепью Севенн, и в этом, по-моему, и заключается тайна волшебного очарования картины. Ее детали выделяются на переднем плане, подчеркивая пространственную глубину перспективы и приобретая особую значительность, каковой и обладают на самом деле, а соразмеряется она со значительностью дальних массивов на горизонте. Вот почему в Риме, высящемся на фоне бескрайнего неба, так трудно оценить

вблизи подлинные размеры его строений. Здесь надо бы стоять Риму! Гигантское основание одной-единственной скалы было бы под стать гению Микеланджело, чтобы прянул ввысь главный купол собора Святого Петра.

Теперь я даже не понимаю, отчего мы благоговеем перед Римом и его Святым Петром: ведь этот уродливый город, скрывший в своих недрах царственные руины, мнит, что все превзошел и всего достиг, создав строение невиданных размеров, действительно совершенное с точки зрения архитектурной науки, но далеко не совершенное по части вкуса и чувства меры. Я слыхал, будто достоинства этой храмины, ее высоту и громаду можно постичь только умом и сравнением, но для меня, признаться, это пустые слова. Мне всегда казалось, что искусство как раз и заключается в том, чтобы из немногого сделать многое, и что подлинное величие искусства не в использованном материале, а в том впечатлении, которое оно производит. Какое мне дело до того, что существо или предмет легко измерить, если глаза мои и не думают измерять его, а мысль невольно стремится его бесконечно возвеличить. Храмы, как, впрочем, и горы, впечатляют нас только своей соразмерностью, той гармонией, которая существует между их пропорциями и потребностями нашего воображения. И в творениях природы, и в творениях человека редко попадаются образцы, отмеченные великим вдохновением; чаще мы видим лишь некие создания, говорящие о расточительности, усталости или прихоти мастера.

Вот почему меня никогда не пленяли всеобщие идолы и кумиры, равно как и модные места. Ты знаешь, что даже море я люблю, когда смотрю на него из-за деревьев или когда там и сям из него поднимаются скалы. Обычно же море, заполняющее собой весь горизонт, кажется мне несоразмерно громадным, точно так же как несоразмерно громадно небо над широкой равниной. Может, и вправду во мне живет бунтарский дух, как говорит наша матушка. Этот упрямый, молчаливый дух сильнее меня и отталкивает от себя все, что хочет его укротить.

Как я люблю грозный ландшафт! Ты упрекал меня за это, когда мы были в Пиренеях. Пропасти раздражали тебя, я же искал их повсюду, и ты сердился и тащил меня в Биарриц, где море умиротворяло твои глаза, пресытившиеся ущельями и водопадами. Если ты немного подумаешь, то поймешь, что в этом ты гораздо более поэт, нежели я. Ты наслаждаешься созерцанием того, что кажется тебе бесконечным. Я же, вероятно, только художник, и поэтому мне нужны вещи конечные. Я ценю в них величие, но для того, чтобы я его приметил, они должны быть величественны очертаниями, и мне дела нет до того, какое пространство они занимают. Очевидно, дерзновенность форм этих громад затрагивает в моей душе дерзновенную струну, а спокойные или буйные краски успокаивают или огнем обжигают чувства. Я не хочу придумывать себе природу и еще меньше хочу разбирать по косточкам или мысленно приукрашивать произведения искусства. Я всецело отдаюсь только тому, что мне по сердцу, и если оно остается холодным, значит, это не для меня.

Вероятно, как всякий человек, я заблуждаюсь в своих оценках, может статься, заблуждаюсь больше остальных, так как живу в плену мучительных волнений, страшной усталости или детского умиления, и в одиночестве мне с ними не совладать. Безраздельно отдаваясь тому, что люблю, я не властен над самим собой. Поэтому я часто нахожу удовольствие в том, что само по себе незначительно, но что помогает мне существовать, когда жизненные силы переполняют или оставляют меня.

Здесь я совсем успокоился, и голова стала вполне ясная. Одиночество мне явно на пользу: им я умиротворен и убаюкан. Оно напоминает о том, как пылко я его когда-то любил, как страсть к одиночеству тиранила меня в молодые годы и как я сознательно изменял ей, когда долг одерживал верх над тягой к уединению, – одиночество прощает эти мои измены, – впрочем, что я говорю? – вознаграждает за них, точно и впрямь понимает меня. Да и почему бы не понять? Разве одиночество не громадное многоликое существо, не голос, не лоно самой природы, которая беседует с нами и сжимает нас в объятиях, и разве природа не начало всего сущего, нескудеющий родник всякого блага и всякой красоты? Разве мы не мыслим ее в реаль-

ном обличье, когда просим у нее душевного успокоения и сил, которые наша искусственная жизнь в замкнутом общественном кругу стремится разрушить и поколебать? Да, бывают часы, когда, не будучи писателями, художниками, артистами или учеными, мы изучаем и вопрошаем природу нашим сердцем и умом, точно надеемся, что своей улыбкой или угрозой она умиротворит или пробудит наши думы. Поэтому нам доставляют удовольствие некие места, точно их косная природа приобщает нас к скрытой в ней вселенской душе, поэтому нам не в радость бывать в других краях, словно притаившийся в тамошней природе дух неумолимо не желает открывать нам тайну своих жизненных сил.

Но, несмотря на все эти фантазии, мне тут хорошо, и задумай я выбрать для жизни уединенный уголок, я поселился бы только здесь. Это суровый и в то же время улыбчивый край. Правда, нрав у него неприветливый, а улыбку приходится вымаливать. Климат резкий: очень морозно зимой, очень жарко летом. Виноград родится плохой и дает очень кислое вино, которое, как водится в странах с неважными винами, жители пьют сверх меры. Вершины Севенн часто окутаны ледяными парами, а стоит ветру разогнать их, льют дожди. Нынче погода постоянно капризничает: небо то внезапно затягивается причудливыми облаками, пряча солнце, то вдруг проясняется, и разливается холодное сияние, которое сразу наводит на мысль о первой заре мироздания, когда был создан свет, иначе говоря, когда воздушные надземные толщи после мучительных родовых схваток пропустили солнечные лучи на молодую, сияющую планету. Существовал ли в ту пору человек? Всё гипотезы, гипотезы… Но он, безусловно, существовал в ту эпоху, когда грозная, ныне застывшая вокруг меня лава вырвалась из-под земли и искорежила почву. У подножия соседней горы, в узкой расселине, под базальтом и окалиной найдены окаменелые человеческие кости – останки старика и ребенка. Значит, человек был свидетелем величественных катаклизмов природы, но так прочно о них забыл, что только исследования современной науки сумели их восстановить и сделать достоянием истории земного шара. Но самое удивительное вот что: в том же почвенном пласту, где покоятся человеческие останки, находят остовы животных, что сегодня обитают в жарких широтах. Стало быть, слоны и тигры когда-то жили тут подле человека.

Впрочем, здесь очень много пещер, весьма грубо вырытых человеком, – значит, дикие племена жили тут с изначальных времен. Если возвышенности, которых издавна щадили колебания моря, следует действительно считать колыбелью человеческого рода, тогда можно уверенно сказать, что перед нами одно из таких мест. Но это уже лежит вне моих исторических интересов. Для меня гораздо важнее найти в сегодняшних обитателях следы общественных перемен. У местных жителей весьма характерный облик, внешние черты которого удивительно соответствуют земле, где они живут: худые, сумрачные, суровые, угловатые и по внешнему виду, и по строю души. Но особенно заметен в них отпечаток феодального режима: дух слепого повиновения постоянно борется в них с духом стихийного бунтарства, а суеверие, которое терпит всякий произвол, в раздоре с буйными страстями, распаленными тем же суеверием. Я не знаю земли, где духовенство пользуется большей властью, и не знаю края, где бунт против церкви был бы и, вероятно, еще будет в урочный час беспощадней и кровавей. Если при описании горного бассейна Пюи я мысленно сравнивал его со столь непохожей на него римской Кампанией, то сделал это, вероятно, потому, что меня поразило известное сходство, – нет, не внешнее сходство здешнего храма, смело и величественно парящего над местностью, с собором Святого Петра, господствующим своей тяжкой громадой над простирающейся равниной, а глубинное подобие нравственного и умственного склада жителей. Не считая существенного различия, заключающегося в трудолюбии и алчности, присущих характеру горцев, местные обитатели во многом схожи с народом Римской империи.

Страстное почитание кумиров, сохранившееся со времен языческого идолопоклонства, тупая вера в местные чудеса, монастырские пороки, ненависть и мстительность, подавляющие все остальные чувства, – вот тебе качества велезского крестьянина, правда, не нынешнего (за

последние сорок лет он сильно пообтесался), а того, что запечатлен в каждой черточке местной истории и ее памятников. Горы, опоясывающие кольцом это место, поощряли самый дерзостный разбой феодалов и самое разнузданное владычество духовенства. Крестьянин страдал от них, но сносил любое бесчинство, и его набожность, как и его нравы, поныне хранит отпечаток яростных междоусобиц и варварских средневековых поверий. Здесь долгие века поклонялись древнему египетскому божеству, которое, как гласит предание, привез сюда из Палестины святой Людовик[6], – только революция сокрушила этот идол. Затем они стали поклоняться новоявленной «черной приснодеве», но вскоре выяснилось, что она подложная и чудотворством своим уступает прежнему кумиру. По счастью, в соборной сокровищнице сохранились свечи, которые якобы держали в руках ангелы, сошедшие с неба, дабы собственноручно водрузить изображение Изиды в алтаре. Свечи показывают ретивым богомольцам. Это что касается их религии; а в кабачках идет иная жизнь. Сюда приходят с ножом в ножнах, втыкают его с оборотной стороны столешницы у колен, а потом уже болтают, пьют, бранятся, дерутся и режут друг другу глотки. Это что касается их инстинктов. Слава богу, с каждым днем они смягчаются, но в нашем 1845 году от Рождества Христова они еще достаточно необузданны, и даже в веселье этих людей есть что-то дикарское. Женщинам развлекаться возбраняют – священники запрещают им танцевать и даже прогуливаться с мужчинами. А мужчины поэтому разнузданны и не питают друг к другу уважения. Большинство не признает власти священника, считая, что подчиняться ей должны женщины. Зато войны во имя веры у них в большой чести. За стаканчиком они спорят о догматах веры и пускают в ход ножи. Это что касается истории.

Их привычки порождены буйной и тяжелой жизнью. Грубость представлений влечет за собой грубость нравов. Человек, плохо понимающий дух религии, плохо понимает жизнь, и нравственность его извращается. В этой стране, где большая часть земли ничего не родит, тем не менее есть огромные богатства, целые плодородные долины, превосходные пастбища, а у жителей – большая тяга к земледельческому труду. Однако крестьянин (я говорю о том, кто возделывает собственный участок, нищего бедняка в расчет не беру) живет безрадостно и даже вроде бы не имеет никаких желаний. Грязь в его жилище неслыханная. Потолок, грубо покрытый дранкой, служит своеобразной кладовой, где хранят вместе со съестными припасами старое тряпье. Когда входишь в дом, то просто задыхаешься от запаха прогорклого сала и тошнотворных ароматов, которые распространяет вся эта гадость, эдакими люстрами свешивающаяся с потолка: связки свечей вперемежку с колбасами, грязное белье, стоптанные башмаки – вместе с хлебом и мясом. Устройством большинство таких домов напоминает скорее крепость и одновременно походную палатку, нежели обыкновенное жилище. Дом стоит на высоком фундаменте, как бы съежившись под плоской крышей, куда залезают по приставной лестнице. В одном таком доме я случайно увидал образа, окруженные неприличными картинками. Правда, зашел я на постоялый двор, где порядочные женщины не появляются. Я прислушался к крестьянам, которые пили и разговаривали. Меня поразила их речь, которая, подобно странному соседству образов и картинок на стенах, была диковинной смесью священных клятв и самых грубых ругательств, что также указывало на сходство здешнего языка с просторечием римских окраин. Очевидно, жажда богохульства вызвана в них закоренелой привычкой в божбе.

Покамест я тебе описывал горцев. Те крестьяне, что живут ближе к городам и к центру этого края, более отесаны. Впрочем, у тех и других, как у римлян, я вижу не только указанные мною пороки, но и замечательные достоинства. Они честны и горды, в их обхождении нет и намека на подобострастие, а в гостеприимстве – большая искренность. В душах их запечатлены суровость и красота их земли и неба. Те из них, что веруют искренне, без ханжества, – люди богобоязненные и воистину религиозные; другие же, которым случилось бывать в разных местах или получить некоторые практические знания, выражают свои мысли ясно, четко, с известной заносчивостью, что даже нравится тому, кто лишен этнических предрассудков.

Местные женщины с виду приветливы и неробки. Сердце у них, по-моему, доброе, а нрав необузданный. Им не столько недостает красоты, сколько женственности. Когда они молоды, их лица в обрамлении черных фетровых шапочек, украшенных стеклярусом и перьями, весьма привлекательны, в старости же они полны сурового достоинства. Только чересчур эти женщины мужеподобны: широкие, квадратные плечи не соответствуют тщедушному телу, а одежда так неопрятна, что и смотреть не хочется. Выцветшие тряпки едва прикрывают длинные грязные голые ноги горянок, и при этом они носят золотые украшения, даже бриллианты в ушах и на шее – странное сочетание роскоши и бедности, напомнившее мне нищенок в Тиволи.

Но трудолюбия у них хоть отбавляй. Искусство плести кружева переходит от матери к дочерям. Едва девочка начинает лепетать, как на колени ей кладут огромную подушку с роговыми булавками, а в руки дают набор коклюшек. Если в пятнадцать – шестнадцать лет девушка не становится замечательной мастерицей, ее считают дурочкой, которая зря ест свой хлеб. Но над этим прелестным и тонким искусством, которое так подобает терпеливым и ловким женским рукам, тяготеет уже тирания не священников, а торговцев, безжалостно обирающих велезианок. Поскольку все обитательницы Веле и большей части Оверни умеют плести кружева, все они в равной мере страдают от низких цен – мизерность вознаграждения за их труды просто потрясает. Здесь скупщик получает на работе ремесленника не те сто процентов барыша, которые, с его точки зрения, и законны и необходимы для дальнейшей торговли, – он зарабатывает впятеро больше. Правда, подчас жадность скупщиков карает их же самих, так как между ними возникает отчаянное соперничество, и они разоряют друг друга точно так же, как кружевницы обесценивают свое искусство, выполняя одну и ту же работу. Таков закон и проклятие торговли.

Кажется, я сдержал обещание и довольно рассказал тебе об этой стране. Ты, дорогой брат, просил меня написать длинное письмо, зная заранее, что в часы одиночества и бессонницы я буду терзаться мыслями о себе, о своей печальной участи и скорбном прошлом, сидя здесь подле сына, который спит рядом, пока я пишу тебе. Конечно, присутствие Дидье бередит мои старые раны, и отвлечь меня от них, заставив заняться обобщением путевых впечатлений, значит оказать мне большую услугу. Тем не менее я бесконечно умиляюсь, глядя на него, и в этом умилении есть своя радость. Так как же можно запечатать письмо, не написав ни слова о Дидье?! Видишь, я колеблюсь, я боюсь твоей усмешки. Ты не раз говорил, что терпеть не можешь детей. А я, хоть и не чувствовал подобной неприязни, тоже избегал общаться с ними – ребяческая невинность страшила мой рассудок. Теперь я переменился, и хотя ты, должно быть, станешь издеваться надо мной, мне нужно излить тебе душу. Да, да, друг мой, нужно. Чтобы ты узнал меня до конца, я должен превозмочь этот ложный стыд.

Понимаешь ли, брат, этого мальчика я обожаю; теперь уже ясно, что рано или поздно он станет единственной целью моей жизни. Я приехал к Дидье не из одного чувства долга – всем нутром я рвусь к сыну, стоит мне некоторое время прожить с ним в разлуке. Ему здесь хорошо, он ни в чем не нуждается, он крепнет, его любят. Приемные родители – прекрасные люди, которые заботятся о нем не только из корысти, а и потому, что, как вижу, привязаны к нему действительно. Живут они в уцелевшей и хорошо восстановленной части замка. Ребенок вырос среди развалин, на вершине большой скалы, под ясным небом, дышит чистым, бодрящим воздухом, окружен вниманием чистоплотных и заботливых людей. Сама хозяйка живала в Париже; она прекрасно знает, какой уход и сколько сил требуется для воспитания этого ребенка, сложенного не хуже ее собственных детей, но отличающегося от них более слабым здоровьем. Словом, я могу ни о чем не тревожиться и спокойно ждать, пока Дидье вступит в тот возраст, когда нужно будет пестовать и развивать не только его тело. И все-таки, когда Дидье нет рядом со мной, меня не оставляют тревоги. Его жизнь как бы держит в страхе и трепете мою собственную жизнь, но стоит мне увидеть Дидье, как все опасения исчезают, а горькие мысли улетучиваются. Да что тут говорить! Я его люблю, чувствую, что он принадлежит

мне, а я безраздельно принадлежу ему. Я вижу, что он вылитый я, да, он похож на меня гораздо больше, чем на свою бедняжку мать, и чем определеннее проступают его черты и характер, тем труднее мне найти в нем то, что напоминает ее; видимо, материнским качествам так и не суждено проявиться. Вопреки установленному закону, согласно которому мальчики наследуют от матери гораздо больше, чем девочки, мой сын будет со временем вылитый отец, если станет развиваться в том же направлении, что сейчас. Уже сегодня я замечаю в нем отцовскую вялость и угловатую застенчивость – таким, по словам матушки, я был в детстве. У Дидье те же горячие порывы, которые понуждали матушку прощать меня и нежно любить, несмотря ни на что. В этом году Дидье впервые заметил, что я существую в его жизни. Поначалу он дичился меня, теперь же улыбается и даже немного болтает со мной. От его младенческих улыбок и лепета все внутри сжимается, а когда на прогулке он протягивает мне руку, сердце мое переполняется такой благодарностью к нему, что я с трудом прячу навернувшиеся слезы.

Но полно, не хочу, чтоб ты и меня почел за ребенка. Я написал тебе об этом, дабы ты не удивлялся тому, что ни о каких планах на будущее я не желаю слушать. Да, да, друг мой, не надо со мной говорить ни о любви, ни о браке. В душе моей не так много счастья, чтобы поделиться им с женщиной, которая заново войдет в мою жизнь. Этой жизни и без того едва хватает для исполнения моего долга, для того, чтобы окружить заботой Дидье, матушку и тебя. А если прибавить ко всему жажду знания, которая порою буквально снедает мне душу, то где же взять время, чтобы разнообразить досуг молодой женщине, которая захочет счастья и веселья?! Нет, нет, об этом не стоит и думать, и если мысли об одиночестве, случается, страшат меня, ты помоги мне дожить до того часа, когда я полностью смирюсь с ними. Это может затянуться на несколько лет, и твоя дружба поможет их скоротать. Не отнимай ее у меня, будь снисходителен к моим недостаткам и великодушно принимай мои чистосердечные признания.

Матушка с мадемуазель де Сен-Жене, наверное, уже уехали в Севаль, и ты их проводил. Если матушка станет обо мне тревожиться, скажи, что получил мое письмо и что я еще в Нормандии».

VIII

В тот же самый день, когда маркиз писал это послание герцогу, мадемуазель де Сен-Жене сочиняла письмо сестре, где по-своему тоже описывала край, в котором теперь жила.

«Севаль, через Шамбон (Крез),
1 мая 1845

Вот мы и в деревне, сестрица! Это сущий рай. Замок старый, небольшой, но довольно живописный, и все в нем отлично устроено для отдыха. Просторный, немного запущенный парк, разбитый, слава богу, не на английский манер. В нем полно красивых старых деревьев в плюще и вольно растут дикие травы. Прелестное место! Даже при новом разграничении департаментов это Овернь, но совсем близко от бывших пределов Марша, в миле от городка Шамбон, через который пролегает дорога к замку. Городок этот очень удачно расположен. Въезжаешь в него по отлогой горе или, вернее, по склону довольно глубокого оврага, потому что гор здесь, строго говоря, нет. Оставляешь позади плоскогорье, где на тощей сырой земле растут низкорослые деревца и высокий кустарник, и спускаешься в длинное извилистое ущелье, которое местами так расползается в ширину, что кажется долиной. На дне этого ущелья, которое скоро разветвляется, текут настоящие хрустальные реки; они не судоходные и вообще, пожалуй, не реки, а горные потоки, которые быстро несут свои пенистые воды, при этом совершенно безопасные. Мне, привыкшей к нашим широким равнинам и большим рекам в плоских берегах, всюду мерещатся пропасти и горы; маркиза же, видавшая Альпы и Пиренеи, смеется надо

мной и говорит, что все это миниатюрно, как ваза на столе. Поэтому, дабы не ввести тебя в заблуждение, я не стану продолжать свое восторженное описание, однако маркизе, довольно равнодушной к природе, не удастся умерить мое восхищение тем, на что я все время смотрю.

Это край листвы и трав, вечнозеленая колыбель, колеблемая ветром. Река, бегущая по оврагу, зовется Вуэзой и, сливаясь в Шамбоне с речкой Тардой, принимает название Шар, которая в первой же долине переименовывается во всем известную Шер. Мне же больше нравится название Шар[1] – оно так удивительно подходит этой реке, которая, совсем как коляска на мягких рессорах, катит воды по отлогому склону, и ничто не в силах нарушить их безмятежного течения. Дорога тоже гладкая, песчаная, точно садовая аллея; она окаймлена величавыми буками, а меж их стволами сквозят настоящие луга, напоминающие в это время года пестрые ковры. Как это красиво, дорогая! Не то что наши искусственные газоны, где растет всегда одно и то же, а куртины тянутся правильными рядами. Здесь ноги топчут два, а то и три слоя мягкой земли, поросшей мхом, тростником, ирисами и самыми различными травами и цветами, одни красивее других: тут и водосборы и незабудки – чего только нет! Все что душе угодно, и все растет безо всякого присмотра, появляясь на свет каждый год. Землю тут не перепахивают каждые три-четыре года, не ворошат корни растений и не затевают чистку почвы, как того вечно требует наша ленивая земля. Больше того: ее часто вообще не возделывают или возделывают плохо; оттого, видно, на пустошах весело буйствует природа, цветя привольно и дико. То и дело цепляешься за разросшийся терновник и чертополох с такими широкими, жесткими и причудливо вырезанными листьями, что удивительной своей формой и рисунком они напоминают тропические растения.

Проехав долину (я пишу о вчерашнем дне), мы стали подыматься в гору по обрывистой дороге. Было влажно, туманно и красиво. Я попросила позволения выйти из экипажа и с пятисот-шестисотфутовой высоты принялась разглядывать зеленый овраг. Внизу, в отдалении, по берегу реки жались друг к другу деревья, а деревенские мельницы и шлюзы наполняли воздух мерным, глухим шумом, и к их гудению примешивались звуки неизвестно откуда взявшейся волынки, которая без конца повторяла наивный мотив. Шедший передо мной крестьянин стал петь, верно вторя мотиву, словно решил помочь деревенскому волынщику довести песенку до конца. Ее слова, лишенные рифмы и смысла, так поразили меня, что я решила тебе их написать:

Скалы мои твердые!
Нет, ни солнцу ясному,
Даже белу месяцу
Вас не растопить.
А полюбит парень,
Горю нет конца.

В этих крестьянских песнях есть неизъяснимое очарование, и музыка, безыскусная как стихи, столь же очаровательна, чаще всего грустная, навевающая грезы. Даже я, которой можно мечтать только урывками, ибо время мое мне не принадлежит, была так поражена этой песенкой, что стала раздумывать, отчего это «даже белу месяцу» не растопить эти скалы; все потому, что и ночью и днем печаль влюбленного парня тяжела, как его скалы.

На самой вершине горы, ощеренной этими твердыми скалами (маркиза сказала, что они не больше песчинок, но я отродясь не видела такого прекрасного песка), мы выехали на тропу, которая была еще уже дороги, и, мигом оставив позади лесистые склоны, подъехали к замку. Отсюда он весь скрыт разросшимися деревьями и кажется не очень величественным, но зато как на ладони виден живописный овраг, который только что миновали.

[1] По-французски «le char» означает «коляска».

Снова обводишь глазами его крутые скалистые склоны, поросшие кустарником, речку с деревьями над водой, луга, мельницы, извилистую теснину, где она струится меж берегов, которые становятся все уже и обрывистее. В парке бьет источник, который потом, срываясь со скалы, разбивается на тысячу брызг. В саду полно цветов, на скотном дворе много животных, за которыми мне можно ухаживать. У меня чудесная комната, уединенная, с красивым видом. Самое просторное помещение в замке отведено под библиотеку. Гостиная маркизы своим расположением и обстановкой напоминает парижскую; она только, пожалуй, шире, в ней больше воздуха и легче дышать. Наконец-то мне стало хорошо и спокойно, наконец я ожила! Подымаюсь на рассвете; маркиза, слава богу, встает тут не раньше, чем в Париже, так что, пока она спит, досуг свой я буду проводить самым приятным образом. Собираюсь вволю гулять, писать тебе письма и думать о вас! Как жаль, что здесь нет наших малышей Лили или Шарло – вот бы погуляли вместе, а я заодно познакомила бы их с деревенской жизнью. Привязаться к крестьянским детишкам, которых часто встречаю, никак не удается. Стоит их сравнить с твоими, и я понимаю, что опасных соперников в моем сердце у них не будет. А покамест мне так весело бегать по полям, хоть и грустно думать, что теперь я от вас еще дальше, чем прежде. Когда же мы увидимся?

Да, скалы мои тверды! Но, право, зачем бороться с теми, что встают преградой в жизни таких бедняков, как мы с тобой? Нужно исполнять свой долг и любить маркизу, а это нетрудно. С каждым днем она все добрее ко мне, по-матерински балует меня, и я порой забываю о своем положении приживалки. Мы рассчитывали застать в Севале маркиза, который обещал матери приехать. Очевидно, он появится немного погодя. Герцог же, думаю, не преминет предстать перед нами на будущей неделе. Будем надеяться, что в деревне он станет так же обходителен со мной, как недавно был в Париже, и больше не захочет испытывать мое остроумие…»

В другой раз Каролина писала сестре о том, как судит маркиза о сельской жизни:

«– Дорогое мое дитя, – говорила она мне. – Чтобы любить деревню, нужно бессмысленно любить землю или слепо – природу. Между тупостью и чудачеством середины нет. Вы знаете, что по-настоящему меня занимают только светские дела, а к природе, живущей по незыблемым и непреложным законам, я довольно равнодушна. Эти законы учреждены Господом Богом, стало быть, они прекрасны и справедливы. Человек может постигать их, восхвалять и даже восторженно описывать, но изменить их он не в силах; они останутся такими, какие есть. Когда вы расточаете восторги цветущей яблоне, я не могу вас за это упрекнуть. Напротив, я считаю, что ваши восторги справедливы, но, право, стоит ли славословить яблоню, которая вас не слышит, цветет не для вашего удовольствия и будет цвести, если вы ничего и не скажете. Не забывайте, когда вы восклицаете: «Как прекрасна весна!» – что это все равно как если б вы сказали: «Весна есть весна». Да, да, летом жарко, потому что Господь создал солнце, в реке прозрачная вода, потому что она проточная, а проточная она потому, что река бежит по холмистому склону. Это красиво, потому что во всем есть великая гармония, а не будь этой гармонии, ничего бы и не было.

Как видишь, маркиза – натура прозаичная и всегда находит логические оправдания тому, что чего-то не чувствует и не понимает. Этим она похожа на остальных людей, и, верно, мы поступаем точно так же, когда природа нас в чем-то обделит.

Пока маркиза рассуждала так, отдыхая на садовой скамье от утомительного моциона – а моцион-то весь сто шагов по песчаной дорожке, – к калитке подошел крестьянин и предложил кухарке рыбу; та сразу же принялась торговаться. В нем я узнала того самого человека, который шел передо мной в день приезда и пел песенку про твердые скалы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

30 апреля 1860 г. в Ноане Жорж Санд окончила работу над романом «Маркиз де Вильмер»; с 15 июля по 15 сентября роман печатался в журнале «Ревю де дё монд» и в 1861 г. вышел отдельной книгой.

2.

…герцог де Сен-Симон в женском обличье. – Герцог де Сен-Симон в своих «Мемуарах» главным образом описывал нравы при дворе Людовика XIV.

3.

…фламандскую кермессу… – Имеется в виду народное празднество в Нидерландах, приуроченное к пасхальным дням и ярмаркам, с плясками и театральными представлениями непристойного характера.

4.

…любовную историю во вкусе Флориана… – Флориан Жан-Пьер (1755–1794) – французский баснописец, поэт и романист наивно-сентиментального направления.

5.

…колыбель того семейства, последние отпрыски которого сыграли столь плачевную роль в недавних злоключениях нашей монархии. – Намек на Жюля Полиньяка (1780–1847), французского премьер-министра, чья реакционная деятельность (роспуск палаты депутатов, упразднение свободы печати и т. д.) вызвала июльскую революцию 1830 г.

6.

…привез из Палестины святой Людовик… – Имеется в виду французский король Людовик IX (1215–1270), который предпринял крестовый поход в Палестину (1248), после битвы при Мансуре (1250) попал в плен и вернулся во Францию в 1252 г.